



Q

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ



Большая серия
Второе издание



Л Е Н И Н Г Р А Д * 1 9 5 7

ВАЖА ПШАВЕЛА

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

*Перевод с грузинского
Н. Заблоцкого*

*Вступительная статья
и примечания
Симона Чиковани*

ВАЖА ПШАВЕЛА

1

Великий грузинский поэт Лука Разикашвили вне семейного круга, в литературе и в обществе, был известен под именем Важа Пшавела («Муж пшавский»). Родился он в 1861 году в горном уголке Грузии — Пшавии, в селе Чаргали. Село это расположено в небольшом ущелье, маленькая речка Чаргула протекает посреди села, гора Чарглис-цвери бросает на него свою большую тень. В Чаргали непрерывно слышится шум реки, шелест леса, и кажется, что девственность природы по сей день сохранилась в этом ущелье.

Дом поэта находится на правом берегу реки. Похож он на скромную келью отшельника, его низкий потолок опирается на столбы. Дом этот был построен отцом поэта, и ореховое дерево во дворе было посажено им же. А множество других плодовых деревьев вокруг дома посадил сам поэт.

Отец поэта, Павле Разикашвили, был сначала протодьяконом, потом его возвели в сан священника. Кроме него, в многочисленной семье и родне Важа Пшавела не было ни одного духовного лица. Почти все предки поэта были настоящими сынами природы. Они не раз проявляли воинскую отвагу, защищая родину, первыми отстаивали честь своей теми (общины). У священника Павле Разикашвили было шесть сыновей и дочерей. Он воспитал их по-спартански, в соответствии с древними родовыми обычаями семьи, закалял физическим трудом, жатвой, охотой, верховой ездой и стрельбой. Вместе с тем родители старались пробудить в детях жажду знания и привить им любовь к литературе. Они познакомили их

с пшаво-хевсурскими народными сказаниями, легендами, героическими песнями и сказками. Долгими зимними ночами они читали детям светские и духовные книги.

Известно, что нашего поэта сильно увлек Ветхий завет. История борьбы Давида с Голиафом, богоборчество Иакова и «Песнь песней» царя Соломона привели его в восхищение. Вообще нужно сказать, что ветхозаветные легенды более отвечали духовным устремлениям поэта, чем евангельские притчи о Христе.

Хотя Важа Пшавела родился и вырос в семье духовного лица, он рано понял, что верования горцев-христиан сильно отличаются от догматов и церковного ритуала жителей долины. Древние полуязыческие верования пшавов так тесно переплелись с христианством, что их невозможно было разобщить. И эта особенность пшавской религии прекрасно выявлена и описана в этнографических статьях Важа Пшавела.

Известно, что в древней Грузии наиболее упорное сопротивление христианству оказывали именно пшавы, хевсуры и мохевцы. Они долгое время сохраняли языческий дух, а затем в их быту даже победившее христианство частично подчинилось языческим обычаям. В горах священнику был противопоставлен вождь теми (общины) — хевисбери. Даже в конце XIX века, когда жил и творил Важа Пшавела, хевисбери оставался военачальником, руководителем всей жизни общины, а также служителем культа.

В горной Грузии существовал свой собственный народный языческий пантеон, и эти остатки языческого вероисповедания сохранились еще и при жизни Важа Пшавела. Остатки родового строя царили в быту хевсуров и пшавов. В горах никогда не было дворянства и крепостничества, и феодальные общественные формы в их чистом виде всегда были чужды горцам. Из истории Грузии известно, что цари и крупные феодалы Картлии и Кахетии не раз пытались подчинить Мохевию и Пшав-Хевсуретию и установить там крепостничество. Все эти попытки оканчивались поражением феодалов; свободолюбивые горцы сумели отстоять свою свободу.

Важа Пшавела любовался свободолюбием и несгибаемостью горцев. Жизнь, быт и природа Пшав-Хевсуретии были ему близки и отвечали его спокойному, беззаветному и мужественному характеру. Привычки, выработавшиеся в условиях горного быта, с детства вошли в плоть и кровь Важа; он хорошо изучил и глубоко воспринял быт и нравы своего народа. Рано проснувшаяся в нем жажда к знаниям, к книгам не мешала будущему поэту принимать живое участие в охоте, скачках, борьбе, кулачном бою и разных

народных соревнованиях. Спартанский дух горцев наложил отпечаток не только на характер Важа Пшавела, но даже и на его внешность.

До восьми лет Важа Пшавела рос в родном селе, затем он учился в телавском духовном училище, в тбилисском двухклассном учительском институте и в горийской учительской семинарии, которую окончил в 1882 году. Важа Пшавела оказался очень прилежным и старательным учеником. Особенно выделялся он отличным знанием русского языка и естествознания. В частности, известно, что, будучи учеником горийской семинарии, он внимательно читал сочинения русских просветителей и революционных демократов — Герцена, Белинского, Добролюбова. В Гори Важа Пшавела сблизился с тамошними передовыми кругами, познакомился с народническим движением.

После окончания семинарии Важа Пшавела стал учителем в селе Амтнискхеви. Здесь он впервые проявил стремление к общественной деятельности: сблизившись с бедными крестьянами, он принимал непосредственное участие в борьбе против князей-помещиков, печатал в тбилисских газетах корреспонденции о тяжелой крестьянской жизни.

В эти дни старший брат Важа Пшавела — Георгий Разикашвили учился в Петербургском университете. Наш поэт не был удовлетворен полученным образованием и в 1883 году уехал к брату в Петербург с тем, чтобы тоже поступить в университет. Но так как диплом горийской семинарии не давал ему на это права, он вынужден был поступить вольнослушателем на юридический факультет Петербургского университета.

Важа Пшавела учился в университете с большим прилежанием, но отсутствие средств заставило его в 1884 году покинуть Петербург и вернуться в Грузию. На родине Важа Пшавела, не желая идти на государственную службу, поступил домашним учителем в семью князя Отара Амилахвари в селении Отаршени. В этой семье воспитывалась Екатерина Небиеридзе, которая стала женой поэта. Вскоре у него образовалась большая семья — три девочки и один мальчик.

В дальнейшем Важа Пшавела вновь учительствовал в сельской школе (в селе Пшанети), но его свободолюбивая натура не могла примириться с мрачной сельской жизнью и рабской крестьянской долей. Он вел открытую борьбу против помещиков и царских чиновников, которые в конце концов ополчились на него и своими интригами добились удаления его из школы.

Первая жена Важа Пшавела умерла рано. В 1904 году он же-

нился вторично и навсегда поселился в родном селе Чаргали. Здесь он жил трудовой жизнью крестьянина — сам обрабатывал землю: пахал, сеял, косил, рубил лес и заготавливал на зиму дрова. В своем доме он построил камин. По воспоминаниям земляков, при свете этого камина он писал свои стихи и поэмы. Чаргальский камин согревал поэта в долгие зимние ночи и облегчал ему тяжелую жизнь в горах.

Важа Пшавела был отважным, душевным и физически очень сильным человеком. Он легко сгибал одной рукой подкову, любил охоту, рыбную ловлю и конские скачки, без промаха бил в цель, много скитался по родным горам. Душа его всегда была полна тревогой. Он чутко прислушивался к горю и радости односельчан, к их нуждам. На заре революции 1905 года он был душой и сердцем на стороне народа и помогал революционерам, приезжавшим в Чаргали из Тбилиси. Его свободолюбивые взгляды неизменно вызывали подозрение властей.

Чаргали — место тенистое и прохладное, можно даже сказать — сырое. Тяжелая жизнь в этом селе в конце концов сломила полного сил поэта: под старость его мучила лихорадка, в 1915 году у него открылся плеврит в тяжелой форме и он надолго слег в постель. Потом поэта увезли в Тбилиси, где сделали ему операцию. Она не помогла. В больнице Важа Пшавела мечтал о пшавских горах, просил принести ему траву и родниковую воду. Он хотел, чтобы его увезли обратно в Чаргали, и был убежден, что горный воздух поставит его на ноги.

С утра 27 июня 1915 года Важа вспоминал Чаргали, Пшав-Хевсуретские горы и ущелья. К вечеру он потерял сознание и скончался.

2

Сочинять стихи и рассказы Важа Пшавела начал еще в ранние детские годы. В семье Павле Разикашвили стихотворство вообще было обычным явлением: братья не переставали состязаться друг с другом в сочинении стихов, а порой эти состязания переходили в серьезный литературный спор. Спорили также о духе народном, о будущем Грузии.

Важа Пшавела вступил на литературное поприще в восьмидесятых годах и почти тридцать пять лет неутомимо занимался писательской деятельностью. Впервые он выступил в печати в 1879 году с этнографическими очерками; в 1881 году появились в печати его первые стихи. Литературное наследие Важа Пшавела весьма

обширно: тридцать шесть поэм, более четырехсот стихотворений, три тома рассказов и пьес, много очерков и статей.

Жизнь Важа Пшавела — непрерывная борьба. На общественном поприще он боролся без устали, как народный учитель и народный поэт, за благородство человека, за светлое будущее. Его неутомимая, полная энергии личность изнемогала в борьбе за хлеб насущный, в тяжелом физическом труде, которым он занимался, чтобы прокормить свою семью, в борьбе с царскими чиновниками, в тяжбах с тбилисскими редакциями, в защите своих творческих позиций.

В ушах поэта всегда звучала музыка богатой горной природы: орлиный клекот, шум водопадов и эхо ущелий, шелест деревьев дремучих лесов и пение птиц. Он был так проникнут дыханием природы, что, казалось, майские дожди несли с собой весну его души.

Среди мастеров грузинской классической поэзии Важа Пшавела занимает особое место. Можно утверждать, что из всех грузинских поэтов он наиболее близок к народному поэтическому мышлению. Творчество его общенародно и общедоступно и вместе с тем глубоко самобытно, исполнено мастерским, неповторимым поэтическим искусством. Творческий мир его первозданен и необычен.

В Грузии Важа Пшавела называют певцом гор, хотя и до него блестящие стихотворения посвятили горам Грузии такие выдающиеся поэты, как Александр Чавчавадзе, Григол Орбелиани, Николоз Бараташвили, Рафиэл Эристави, Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели. И тем не менее имя певца гор осталось все же за Важа Пшавела — потому что он особенно глубоко проникся жизнью и бытом, обычаями, заботами и бедами горцев, сделал их главной темой своей поэзии.

Чаяния горцев Важа Пшавела связал со своей биографией, превратив жизнь и быт Пшав-Хевсуретин в источник своего вдохновения, и своими поэтическими мечтами, словно туманом, окутал высокие горы. В сущности он никогда не покидал гор — даже тогда, когда жил в Тбилиси, Гори или Петербурге. Словно всегда и везде носил он с собой горную землю и траву в хурджине и по ночам вдыхал их аромат, обретая тем самым творческие силы. Он был и участником и летописцем повседневной жизни Пшав-Хевсуретин и всю свою своеобразную народную, артистическую жизнь провел без всякого принуждения в горах.

Одетый в чоху и архалук, в высокой паяхе, с хурджином через плечо приезжал Важа Пшавела в Тбидиси и приносил стихи

и поэмы в редакции журналов и газет. Но цель его приезда часто заключалась не только в издании стихов. Он жаждал бесед и споров по вопросам литературы. Особенно любил он беседовать о творчестве Руставели, Пушкина, Гёте, Толстого, Спинозы и Гегеля. Поэт умел отстаивать свои позиции во время спора. Для своего времени он был весьма образованным человеком.

Когда Важа Пшавела привлек внимание грузинского читателя и критики, он был уже зрелым художником, который выработал свою поэтику. Поэзия Важа Пшавела многим казалась странной, и источники его вдохновения как будто оставались скрытыми. Тогдашняя грузинская критика решила определить самобытные особенности поэзии Важа Пшавела и найти ее источники, выяснить, каково происхождение ее национального и местного колорита, из какой литературной традиции возник столь своеобразный поэтический мир. Иные критики предшественником и учителем Важа Пшавела считали Илью Чавчавадзе с его «Письмами путника»; другие полагали, что Николоз Бараташвили помог Важа Пшавела проникнуть в душу природы; третьи утверждали, что учителем пшавского поэта является Рафизл Эристави со своими стихами, написанными на горский лад. Наконец, один из критиков поставил существенный вопрос: что в стихах и поэмах Важа является плодом индивидуального творчества и что взято им из народной поэзии. Этому критику поэзия Важа Пшавела казалась, по крайней мере частично, просто перепевом народных пшаво-хевсурских легенд и сказаний.

Важа Пшавела несколько раз откликнулся на высказывания критиков и пытался опровергнуть вышеприведенные суждения. Он имел ясное представление о своем месте и пути в поэзии. Литературными статьями и полемическими стихами он отстаивал свой индивидуальный творческий путь и пытался показать читателю, на какой почве возросла его поэзия, где были истоки его вдохновения. Важа Пшавела считал преувеличенным мнение критиков о безраздельном влиянии на него народной поэзии. Он признавал, что в каждой его поэме имеются какие-то крупницы, взятые из фольклора, но они настолько переработаны в горниле души поэта, что их почти невозможно заметить с первого взгляда.

Важа Пшавела доказывал: «Мои поэмы построены на двух-трех словах, услышанных в народе». Он утверждал, что воспользовался образами и мотивами, рассеянными в народной поэзии, но так их расширил и углубил, что придал им новое художественное звучание и на этой основе создал свой самобытный поэтический мир.

Относительно же родства своего с Рафиэлом Эристави Важа Пшавела говорил в самой общей форме: «Конечно, мне нравятся написанные на народный лад стихи Рафиэла Эристави, но я сам начал с юности, независимо от него, писать стихи на пшавском говоре, хотя долго и не решался их печатать».

Важа Пшавела был идейным соратником грузинских просветителей и демократов, крупнейших поэтов XIX века — Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Однако из той статьи Важа Пшавела, которую мы цитируем, создается впечатление, что он не захотел прямо и открыто высказаться о литературных взглядах своих старших современников. Это умолчание весьма знаменательно. Важа Пшавела относился к И. Чавчавадзе и А. Церетели с глубоким уважением, говоря о них неизменно с благоговением, но никогда не настаивал на своем литературном родстве с ними. Более того: он считал, что его поэтика имеет совершенно иное происхождение.

В декларативном стихотворении, обращенном к Акакию Церетели, Важа Пшавела сравнивает свой поэтический голос с трубным криком оленя, родить которого могли только горы. Но этот своеобразный горный голос, по мнению Важа, понятен всей Грузии и, может быть, еще более органичен и естествен, нежели голос поэтов долины.

Важа Пшавела приветствовал борьбу, которую вели Николоз Бараташвили, Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели против влияния иранской и вообще восточной цветистости, экзотики и аллегоричности, сильно сказавшегося в грузинской поэзии и породившего множество эпигонов. Но вместе с тем Важа Пшавела скептически относился к тому новому направлению грузинской поэзии, которое И. Чавчавадзе назвал «европеизмом» (подразумевая под этим понятием прежде всего борьбу против внешних, чисто орнаментальных приемов, присущих восточной поэзии). Самый термин «европеизм» Важа Пшавела считал неудачным и никогда не пользовался им. Гораздо более важным представлялось ему выявление народных истоков грузинской поэзии и ее развитие на этой народной основе.

Все замечательные западноевропейские и русские мастера слова, — утверждал Важа Пшавела, — выросли на народной почве, и грузинские поэты должны прежде всего отыскать свои народные корни. Таким образом, он как бы обходил стороной литературный путь, избранный отцами, и обращался непосредственно к дедам. Своими предшественниками Важа Пшавела называл Шота Руставели и Давида Гурамишвили. Если Руставели, по его мнению, был

Эльбрусом, то себя самого он сравнивал с холмом — ибо холм более похож на Эльбрус, чем Тирипонская долина. Тем самым автор «Бахтриони» отмечал *качественное* свойство своей поэзии, роднящее ее с эпосом Руставели. Он также упорно требовал, чтобы истоки его творчества искали в поэтическом мире Давида Гурамишвили. Обращаясь к Гурамишвили, он писал:

Дед мой славный и предтеча!
Снова я стишки крою
И, склоняясь, издам
Лобызаю тень твою.

Важа Пшавела не нравилась, вероятно, ни изощренная в восточном духе поэзия Теймураза Первого, ни виртуозность Бесики — видного поэта XVIII века. Только творчество Давида Гурамишвили казалось ему подлинно национальным явлением, свободным от каких-либо чужеродных влияний. Автора «Бахтриони» привлекало то, что поэзия Давида Гурамишвили была проникнута духом народного патриотизма, что Гурамишвили впервые ввел в грузинскую поэзию простых людей и рассказал об их быте и нравах на языке народного просторечия. Важа Пшавела нравилась также и народность поэтического языка Руставели, но он не был согласен с его поэтической формой, с предельной отточенностью стиха и строгой строфической выдержанностью. Полная непринужденность, народность, если угодно — некоторая неотесанность поэтического слова Давида Гурамишвили гораздо больше привлекали Важу Пшавела, и он считал Гурамишвили поэтом, имеющим глубоко национальные, народные корни, вскормленным грузинской народной мудростью.

Народность поэзии Важа Пшавела с большой силой проявилась в его совершенно своеобразном стихотворном языке, очень свободном и самобытном. И в этом отношении Важа Пшавела не являлся непосредственным продолжателем языковых поисков Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Когда А. Церетели в одном из своих выступлений осудил поэтический язык Важа Пшавела, тот вступил в спор со своим критиком и в полемическом задоре объявил пшавский говор одной из основ общегрузинского литературного языка. Обращение к этому говору он считал характерной чертой своей поэтики и доказывал, что, «как непорочна природа гор, так же чист и образен разговорный язык горцев».

Этот народный язык был резервуаром, из которого Важа Пшавела черпал щедрой рукой. Но при этом важно подчеркнуть, что,

решительно отстаивая свою позицию в данном вопросе, он применял народный пшавский говор с достаточным художественным тактом. Говор этот служил для Важа Пшавела средством придания «местного колорита» в поэтических описаниях природы и быта Пшав-Хевсуретии, и особенно — в прямой речи героев-горцев. Литерическая же речь самого поэта почти свободна от пшаво-хевсурских диалектизмов и отвечает духу и формам грузинского литературного языка.

Как своеобразная поэтическая речь, так и само поэтическое видение мира у Важа Пшавела удивительно непосредственны и чисты, проникнуты высоким народным гуманизмом. Поток чувств поэта безбрежен: словно впервые в грузинской литературе открыл он врата природы и увидел необыкновенных людей, сохранившихся в горах, и создал их проникновенные, скульптурно четкие образы. Пусть материал, которым владел поэт, его язык и весь колорит его поэзии характерны лишь для горцев, но образы и характеры, созданные им, — общенародные, общегрузинские. Более того: они близки и понятны всем народам, потому что поэзия Важа Пшавела — это высокая, героическая поэзия могучих, негибаемых характеров, поэзия рыцарской дружбы и благородства. Она возвышает и облагораживает человека.

Пожалуй, никто из поэтов, писавших на рубеже XIX и XX веков, не был так близок к природе, не был так тесно, так неразрывно связан с нею всеми своими корнями, как Важа Пшавела. Он буквально слился с природой. Известно, что один из школьных товарищей Важа как-то прочитал ему стихотворение Баратынского «На смерть Гёте»:

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна...

Эта характеристика поэтической личности Гёте привела юного Важа Пшавела в восторг. Он, как рассказывают, радостно кружился по комнате, восклицая: «Вот мое зеркало, я нашел самого себя!» В стихах Баратынского молодой поэт словно нашел ключ к собственной душе, увидел, что и ему дано слушать шелест листьев и журчанье рек, жить одной жизнью с природой. Вариацией на тему Баратынского звучат стихи самого Важа из поэмы «Змеед».

Теперь он понял мир природы,
Ее живые голоса.
И с ним беседовали воды,
И говорили с ним леса.

Истоки поэзии Важа Пшавела оказались в его собственной душе, а Пшавия — этот романтический заповедный уголок Грузии — дала обильную пищу его поэтическим раздумьям. Он говорил: «Воспоминания лежат у меня грудой булыжника; отбираю и отбираю их постепенно... Я помню, что было в прошлом плохого и хорошего...»

Воспоминания, запечатлевшиеся в душе горца, открылись ему как органический мир поэзии. Они властно требовали проверки, отбора, оценки, воплощения в поэтическом слове. Задачей поэта было художественно обобщить эти воспоминания и связать их с запросами текущей жизни.

3

Органическое единство исторических, литературных и биографических факторов определило идейную и художественную направленность творчества Важа Пшавела, смелость его первоначального поэтического видения и неповторимо своеобразный колорит его поэтических картин.

Душа поэта, подобно природе, исполнена могучей внутренней энергии и, подобно природе, порождает бесчисленное множество образов. Она словно рождена в мире изначальных прозрений народа, где еще не утрачено духовное детство, где все воспринимается непосредственно. Народность является едва ли не прирожденным ее качеством. Легенда, созданная народом, сказание, басня, крылатое слово, песня или бытующее в народе наблюдение над явлением природы — все это служило для Важа Пшавела материалом, из которого он создавал большие, обобщенные, монументальные поэтические произведения.

Этот материал имел свою музыку и свои краски.

Конечно, читатель может и непосредственно воспринять поэзию Важа Пшавела, но все же для более полного и точного понимания ее необходимо знакомство с крайне своеобразными народными представлениями, закрепленными в пшаво-хевсурском фольклоре. С этой точки зрения большое значение имеет этнографический материал, содержащийся в очерках и статьях самого поэта. Если читатель совершенно не знаком с миром грузинских народных пред-

ставлений, некоторые места в произведениях Важа Пшавела будут ему не совсем понятны.

Многие образы Важа Пшавела, его оравнения и метафоры тесно переплетаются с грузинскими народными поэтическими картинками, созданы на основе народной фантазии. Поэт внимательно изучал религиозные представления горцев — потому что они оказали глубокое влияние на жизнь, быт и нравы народа.

Когда мы вступаем в мир поэзии Важа Пшавела, гигантские горы постепенно обступают нас. Амирани боролся в этих горах с богом и нашел огонь для блага народа. И Важа Пшавела беседует с подернутыми туманом горными вершинами, как с живыми существами, и, глядя на курящийся туман, воображает, что горы размышляют:

Туманы — это размышленья
Могучих гор, седой венец
Их человечности, томленья
Несокрушимых их сердец.

Поэт слит с величием природы, с ее жизнью, и душа поэта награждает природу высокими человеческими чувствами, придает ей мощь, нежность, томление:

Почему я создан человеком,
Почему, исполненный красоты,
В сонме гуч, в высоком мире неком,
Не рожден я капелькой росы? ..
.. И, любуясь солнцем и сверкая,
Плыл бы я в безбрежные края, —
Сверху небо, снизу грудь земная,
Оба вместе — родина моя.

Поэт избирал своими героями обыкновенных людей, действующих в повседневной жизни, но поручал им совершать необыкновенные дела. В духовных свойствах героев Важа Пшавела чувствуется родство с фольклорным художественным мышлением. В народной поэзии обыкновенные люди всегда являются выразителями помыслов и мечтаний народных. И автор «Бахтриони» изображал именно таких героев. Он как бы создавал народные мифы и легенды. В поэзии Важа Пшавела чувствуется дух, свойственный античной поэзии. Он никогда не прибегал к образам античной мифологии, но широко пользовался материалом и образностью грузинских народ-

но-мифологических представлений, создавал собственный национальный пантеон.

Может быть, поэтому в поэзии Важа Пшавела не только богатыри и природа имеют свою собственную независимую духовную жизнь, но даже военные доспехи одухотворены и одарены собственной жизнью. Когда герой — защитник родины — находится при смерти, друзья умирающего спрашивают о его мече:

— Где же, пшавы, меч героя,
Что сверкал змеиным жалом?
— Трижды в день он точит слезы,
Смерть оплакивая Гиги.

В поэзии Важа Пшавела оружие срастается с человеком и принадлежит только достойному. Символ мужества — сабля стала главным «действующим лицом» нескольких произведений поэта; она сама борется за то, чтобы стать собственностью достойного. В одном из своих рассказов («Сабля Батура») Важа Пшавела в этом духе переработал одно народное сказание. После смерти Батура в деревне не оказалось человека, который мог бы достойно носить его саблю, и потому ее спрятали в сундук. Но сабля возмутилась, выскочила из ножен, стала летать в воздухе и ночью разбудила звоном все село. Сабля успокоилась только тогда, когда ее забрал себе самый достойный воин.

Созданные Важа Пшавела герои не локализованы точно в историческом времени, в своей эпохе. В поэме «Змеед» Миндия, с одной стороны, — воин времен Важа Пшавела. Но вместе с тем в поэме говорится, что Миндия является воином времени Тамары и что она гордится его мужеством и воинской силой. Так же и в псэме «Гоготур и Апшина» Гоготур одновременно и воин давнего времени и современник автора. Они живут в поэзии Важа Пшавела не как представители какой-то определенной эпохи, но как воплощение вечной жизни народа, как символы бессмертия родной природы, взрастившей народ.

Даже реально существовавшие личности, попадая в поэтический мир Важа, изолируются от своего конкретного исторического окружения, живут в атмосфере народных легенд. Теряя свои характерные исторические признаки, они свободно переходят из одной эпохи в другую. Иракий Второй беседует о защите родины с пшавами и хевсурами — современниками Важа Пшавела, а в одном из рассказов Важа он идет в лес охотиться вместе с поэтом.

Существенной особенностью поэзии Важа Пшавела является одухотворенность природы, которую так любил живописать поэт.

В его представлении природа — это сокровищница тайн человеческой души, это ответ духовной жизни человека. Поэтому картины природы, создаваемые поэтом, наделены теми же характеристическими чертами, как и героические люди, действующие на лоне природы. Природа в изображении Важа Пшавела всегда динамична, воинственна и мужественна. Она всегда в борьбе и движении. Картины природы у Важа Пшавела материальны, зримы и почти осязаемы:

Но, предначертан волей рока,
Непроницаемый для глаз,
Туман, как черная морока,
Скрывает витязей от нас.
Встает он пологом заклятым
Над очарованным холмом,
И не разбить его булатом,
И не рассеять волшебством.

Пушкин писал в «Путешествии в Арзрум», что при въезде в Дарьял ему почему-то припомнилась картина Рембрандта «Похищение Ганимеда». В поэтических картинах Важа Пшавела, которые воспроизводят такие же ущелья и горные склоны, столь же отчетливо видна игра света и теней. Они свидетельствуют об удивительной способности поэта к живописному видению. Важа Пшавела избегал отвлеченных, беспредметных поэтических образов. Он хотел все представить в осязаемой и предметной форме. Только он умел унести печаль, как «сагзали»,¹ и представить мысль так же зримо, как можно увидеть горный туман.

Каждая поэтическая картина, нарисованная Важа Пшавела, как будто сложна, но по существу всегда ясна и точна:

Лишь на окраине Хахмати,
И сиротлив и одинок,
Сквозь дверь молельни на закате
Мерцает робкий огонек;
На листьях ясеня трепещет
Его колеблющийся свет,
То вспыхнет ярко и заблещет,
То вновь его как будто нет.
Так тело борется живое
Со смертью, испуская дух...

¹ То, что человек берет с собой в дорогу.

Столь сложно обрисованный метафорами мир — редкое явление в грузинской поэзии. Это результат крайне своеобразного поэтического прозрения. Эта поэтическая картина исполнена глубокого внутреннего движения. «Тьма, торопясь, надвигается, от света отлетела душа», — говорит поэт, и эти метафоры служили у него обычными разговорными выражениями, а не крылатым поэтическим языком.

4

Многие свои стихотворения Важа Пшавела называл «песнями», на манер произведений народной поэзии. Писал он одним песенным размером — восьмистопным «шайри». Но главное в его стихотворениях — не песенность, не мелодия. Он является, в основном, мастером поэтического образа, создателем оригинальных метафор и сравнений. Он не стремился к строгости строфических форм, подобно Руставели, Бараташвили и Акакию Церетели. Строй его строф, основанный на свободном поэтическом дыхании, не подчиняется никакой единой закономерности.

Важа Пшавела — поэт эпического мышления. Он обогатил грузинскую поэзию многими лирическими шедеврами, был склонен к элегическому раздумью, но его ключом бьющий талант нашел выход прежде всего и главным образом в эпосе. Поэтому многие лирические стихи Важа производят впечатление отрывков какого-то большого эпического полотна: и в них мы встречаем народные басни, сказания и легенды, картины природы, героические эпизоды. После Шота Руставели в Грузии не было поэта такого эпического размаха. Лучшие поэмы Важа Пшавела — «Бахтриони», «Гость и хозяин», «Гоготур и Апшина», «Змееед», «Алуда Кетелаури», «Этери» — открыли новую эру в грузинской поэзии.

В восьмидесятые годы, когда Важа Пшавела вышел на литературную арену, в грузинской литературе безраздельно господствовали Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели — подлинники властители дум грузинского народа. Их патриотические произведения пользовались всенародной славой, и казалось, что патриотическое чувство уже столь сильно и неповторимо выражено этими поэтами, что сказать в этой области новое слово уже никому не под силу. Но вот появился Важа Пшавела и сказал это новое слово во всю мощь своего поэтического голоса. Певец гор раскрыл тему родины по-своему, найдя для нее новые интонации и новые краски.

С наибольшей силой патриотическое чувство Важа Пшавела

выражено в его шедевре — в поэме «Бахтриони». Когда Важа Пшавела опубликовал эту поэму, ему шел 32-й год. Его муза вступила уже в зрелость, и после глубокого изучения материала он как бы одним дыханием создал эту поэму, как сам он сообщает — почти без исправлений. Вообще поэт не любил строгать и подчищать свои создания.

«Мои поэмы почти все основаны на народных сказаниях, древних историях, каждая из них — по-своему, — сказал Важа Пшавела и добавил: — Некоторые очень отдалены от содержания народного сказа, некоторые более близки».

История взятия Бахтриони вкратце описана в грузинской летописи («Картлис Цховреба»). В 1656 году иранский шах Аббас I отобрал Кахетию у царя Карталинии и посадил там правителем кизилбаша (перса) Селим-хана, который ввел в Кахетию большое войско туркмен, в крепости Бахтриони поставил гарнизон. Грузинский историк XVIII века так говорил об этом: «Покорили Бахтриони и Алаверди и осквернили святые храмы, а в 1659 году собралась вся Грузия, соединились войска долин и гор и одолели Селим-хана, взяли крепость Бахтриони и изгнали его из Грузии».

Об этой истории Важа Пшавела знал еще в детстве из отрывков нескольких народных стихотворений, где упоминается имя действующего лица из «Бахтриони» — военачальника тушинов Зезва. Но толчок к созданию поэмы дали Важа Пшавела не только «Картлис Цховреба» и народные стихи, но также и известное сочинение Иоанна Батонишвили «Калмасоба», где в одном из эпизодов монах Хелашвили рассказывает пшавам об их предках, о борьбе их на границе Пшавии и Хевсуретии против войск шаха Аббаса I. По этой версии, войско шаха Аббаса после поражения больше не решалось вступить в горы, но и горцев не пускало в долины, и таким образом долины Алазани и Иори в Кахетии оставались недоступными для горцев. Поэтому три уголка горной Грузии объединились с Карталинией, враг был разгромлен и изгнан, и пастбища были возвращены горцам.

Таков вкратце тот материал, которым пользовался Важа Пшавела при написании поэмы «Бахтриони». То, что было дано в исторических источниках и в народной поэзии в виде зачатка, поэт, как он сам сообщает, переработал в «горниле своего творчества», развил, обогатил и при помощи поэтической фантазии и силою художественного слова создал монументальное, проникнутое патристическим чувством произведение. Крупницы, найденные в народных песнях и стихах, словно ожили под пером поэта. Как пишет сам

Важа, «здоровая фантазия» помогала ему при этом, фантазия, которая, по мнению поэта, «ничего такого не может создать, что не соответствовало бы действительности».

Спустя три года после опубликования поэмы Важа Пшавела появилась повесть Акакия Церетели «Баши-Ачук», тоже в известной мере посвященная взятию Бахтриони и вообще освобождению Кахетии от владычества Селим-хана. Акакий Церетели пользовался сведениями историка Вахушти и как бы даже полемизировал с Важа Пшавела. Исторические хроники и Акакий Церетели утверждают, что некоторые из феодалов Карталинии и Кахетии вместе с горцами принимали большое участие в борьбе и что кое-кого из них даже замучили в персидском плену. А Важа Пшавела изображает взятие Бахтриони как народную битву, выигранную силами горцев без помощи жителей равнинной Грузии и, тем более, без участия феодалов. Он не отводит князьям никакой роли в деле освобождения Кахетии. В одной из своих статей поэт писал, что за проявленный героизм во время взятия Бахтриони царь пожаловал пшавам Панкисское ущелье. Эти сведения Важа Пшавела считал достаточным основанием для того, чтобы взятие крепости Бахтриони приписать одним лишь пшавам, хевсурам и тушинам. По мнению Важа Пшавела, большое народное патриотическое дело мог осуществить лишь свободолюбивый народ, который не нуждался в помощи феодальной знати.

Важа Пшавела даже в поэмах исторического содержания не любил придерживаться точности исторических хроник. Так и в «Бахтриони» подлинный исторический материал внесен очень скупно. Вернее будет сказать, что Важа Пшавела в своей поэме отталкивается от исторического материала, чтобы создать оригинальные, художественно полноценные образы.

Как уже сказано, в народных стихах о Бахтриони из героев, действующих в поэме Важа Пшавела, упомянут только Зезва. Остальные действующие лица — не исторические личности. Главный герой поэмы Лухуми не упоминается ни в одном из исторических источников. Носящий это имя герой-пшав встречается в народных стихах хевсуров и пшавов, но в этих стихах он действует совсем в другое время и при других обстоятельствах. Изображенный в хевсурских народных стихах Лухуми, у которого лезгины отрезали правую руку, человек большого мужества, но он совершенно не похож на изображенного в «Бахтриони» мудрого и смелого предводителя рода.

Поэма «Бахтриони» начинается величественным и вместе с тем драматическим описанием природы Пшав-Хевсуретии. Вслед за этим

описанием идет замечательное лирическое обращение очарованного красотою природы поэта к родному краю:

О горы! Здесь, в краю скалистом,
Несу я поздний вам привет!
Пусть будет вашим остролистом
Мой холм кладбищенский одет.
Моя душа повсюду с вами,
Я сам питомец этих скал,
Недаром жадными устами
К сосцам я вашим припадал.

Дальше перед читателем раскрывается картина обездоленной земли, только что перенесшей бедствия войны. Это показано лишь для того, чтобы сделать новый прыжок — снова показать пробуждение народа, подготовку к новому походу для защиты родины.

В поэме действует также дочь старого воина Лела и сирота-пшав Квирия, которые вносят лирическую струю в этот суровый эпический мир. Своими самоотверженными действиями они помогают горцам в борьбе против врагов. Проникнув в крепость к врагу, они открывают ее ворота грузинскому войску. Если Лухуми — предводитель, Лела и Квирия — представители рядовых бойцов. Квирия увидел удивительный сон и рассказал его Лухуми и другим воинам, готовящимся к сражению (см. стр. 158 — «Мне снилось: в поле незнакомом...» и т. д.)

Этот вещий сон всех заставил призадуматься: как необыкновенное предвидение судеб народа, он смутил души воинов. Сон этот внешним образом как будто не имеет отношения к событиям, описанным в «Бахтриони», но если вникнуть в его аллегорический смысл, выясняется связь идеи поэмы с мотивами этого сна. В поэме враг — дракон оказывается побежденным, Квирия и Лела гибнут в бою, а в дальнейшем содержание рассказанного Квирией сна становится символическим изображением исторической судьбы грузинского народа. Этот сон как бы создает композиционное и сюжетное единство поэмы, сочетая в некое целое ее эпические картины.

Семейная или любая другая личная драма действующих лиц исключена из поэмы, почти все герои ее борются за общенародное дело и живут в поэме постольку, поскольку каждый из них служит этому общему делу. Одушевляющее их патриотическое чувство настолько жизненное, естественное и, можно сказать, интимное, что все их поступки и чаяния проникнуты в поэме глубоким лиризмом. Герои «Бахтриони» создают духовную атмосферу поэмы не личным характером своих биографий, а наоборот — народная жизнь и судьба

родины стала их биографией, и они настолько же захвачены заботами о судьбе родины, как и своими житейскими делами. Это чувство проникает в их семейную, повседневную жизнь. И потому главное в поэме не взятие крепости Бахтриони (коротко и ярко описанное поэтом), но подготовка к взятию крепости и то душевное волнение, которое в это время владеет народом, поднявшимся на врага.

Победившее врага войско пшавов возвращается домой, и воины рассказывают о том, кто чем прославился на поле боя, кто проявил больше доблести и героизма. Одно лишь не могут понять воины — куда девался старик Лухуми: последовал ли он за раненым Зезва в Тушетию или погиб на поле боя. Они опечалены и горестно размышляют о судьбе военачальника. Но вскоре в авторской ремарке выясняется, что в народе живет сказание, будто Лухуми остался в глухом лесу на краю скалы и там продолжал бой со смертью, и будто встретившийся ему грозный и злой змей пожалел раненого, стал ухаживать за ним и исцелил его.

Из этого эпизода поэмы видно, что Важа Пшавела придал образу Лухуми легендарные черты. Если вначале поэт ввел своего героя в определенную историческую обстановку, то в дальнейшем, к концу поэмы, он отдалил героя от этого исторического окружения, превратив Лухуми в символ мощи народа, в символ бессмертия.

В одной из своих статей Важа Пшавела передает любопытный рассказ о том, как понял один простой пшав-читатель содержание или главную мысль «Бахтриони». Этот пшав сказал поэту: «Важа, ради бога, не скрывай от меня, скажи правду, не подразумеваешь ли ты свободу Грузии, когда в «Бахтриони» говоришь: „Еще поднимется Лухуми к Лашари на гору свою. . .“?» Важа Пшавела согласился с догадкой своего читателя. Он полагал, что не только это произведение, но и другие его поэмы служили народным национальным интересам, проповедовали передовые идеи. Поэмы «Гость и хозяин» и «Алуда Кетелаури» непосредственно не касаются темы защиты родины, однако автор и их считал произведениями патристическими.

5

Из стихотворений, поэм и этнографических статей Важа Пшавела можно ясно представить, как был он влюблен в обычаи и нравы своего народа и в привлекательную природу Пшав-Хевсуретии. Его восхищали черты характера горцев, их мужественный и ратный дух, традиции дружбы и гостеприимства, царившие в горах.

Он любил в праздничные дни присутствовать на соревнованиях, слушать народных певцов и сказителей, но он же открыто, непримиримо и со всей страстью боролся с отсталостью в общинном быту, с варварским обычаем кровной мести, сохранившимся в условиях родового строя, с суевериями и со всеми случаями попиранья человеческого достоинства, встречавшимися в общинном быту.

Важа Пшавела стремился привить народу передовые гуманистические идеи посредством художественного слова. Лучшие народные традиции он противопоставлял многим уродливым обычаям родового строя и во имя народа старался преобразовать и возвысить быт своих земляков. Когда один грузинский критик высказался в том смысле, будто Важа Пшавела оплакивал прошлое и отстаивал пережитки, сохранившиеся в быту и нравах горцев, поэт в ответной статье опроверг это обвинение и заявил следующее: «Если мои произведения ничего не говорят о будущем, о нашей жизни и быте, о нашей судьбе, если этого будущего в них не видно, я в таком случае не являюсь поэтом...» И далее: «Если я имею дарование истинного творца, то я обязательно должен говорить о будущем — путем описания прошлого или настоящего».

В поэмах Важа Пшавела «Гость и хозяин» и «Алуда Кетелаури» говорится об остром столкновении родовой общины и ее передовых представителей. В этих поэмах Важа отнюдь не оплакивает прошлое, но рисует драматические картины борьбы старого с новым. В этих поэмах, говоря условно, предугадан исход борьбы, которая шла между уродливыми обычаями, вырождавшимися в недрах общинного строя, и благородными передовыми помыслами лучших сынов народа.

Поводом к написанию поэмы «Гость и хозяин» послужило народное предание о некоем доблестном и мужественном хевсуре Звиадаури. В предании этом рассказывается лишь о том, как попал Звиадаури в плен к кистинам, после того как убил в бою одного из них. По верованию кистинов, если убьют кровника убитого и перед смертью заставят его молить о пощаде, то это уже означает победу мертвого, и кровник станет его рабом в потустороннем мире. Но Звиадаури проявил большое мужество и встретил смерть, не согнув головы перед врагами.

В поэме Важа Пшавела эта история передана с удивительной экспрессией и оживлена новыми яркими, сочными поэтическими красками. Данный эпизод поэмы вводит читателя в мир высоких гуманистических идей. Герой поэмы кистин Джохола благородное народное гостеприимство поставил выше адата кровной мести. Он

пошел наперекор своей общине. Опыаненная жаждой кровной мести, община попраля обычай гостеприимства и унизила человеческое достоинство Джохолы, который отказался предать гостя. С точки зрения Джохолы, такое предательство свидетельствует о том, что община сама разрушает свои высокие моральные корни, что существующие испокон века благородные обычаи и нравы вырождаются. На стороне Джохолы оказывается только его жена Агаза. Ее привлекает мужество и рыцарское поведение хевсура Звиадаури. В лагере противников Джохолы и Агазы вся община, и Агазе кажется, что сама природа и могилы кистинов, погибших в боях против хевсуров, борются с ней:

Она встает в смертельной муке,
Она бежит, а вслед за ней
Не мертвецы ли тянут руки
Из-за кладбищенских ветвей?
«Нет, ты не скроешься в селеньи,
Удрав от нас по-воровски!» —
Кричат ей скалы и камня,
И остролисты, и пески...

Восстав против решений общины, Джохола и Агаза погибают.

Важа Пшавела в поэме «Гость и хозяин» с большим душевным волнением выразил свой гуманизм. Звиадаури — отважный герой, защитник отчины. Если он убил какого-то кистина, то лишь с целью защиты. Важа Пшавела любит мужеством человека, его рыцарской природой, его патриотическим чувством и самоотверженностью. Он сближает людей — представителей разных народов, коль скоро люди эти обладают такими качествами. Он пытается проповедовать идею дружбы между народами. Не только Джохола и Агаза, но и сами враги Звиадаури видят его внутренние достоинства. Но они подчиняются требованиям общины и скрывают в глубине души свои чувства... Тем самым поэт подсказывает вывод, что духовную жизнь народа выражают больше и вернее отдельные благородные люди, нежели закостеневшие бесчеловечные законы общины. В финале поэмы возникает картина братской трапезы трех призраков — Джохолы, Агазы и Звиадаури:

И вот среди вершин Кавказа
Мерцает зарево костра,
И снова трапезу Агаза
Готовит братьям, как сестра.

Сквозь сумрак ночи еле зримы,
В сияньи трепетных огней
Ведут беседу побратимы
О дивном мужестве людей,
О дружбе, верности и чести,
Гостепринимстве этих гор. . .

Они собрались вместе, чтобы утвердить братскую любовь между людьми. Они возвысились над общиной и ее жестокими законами, они сберегли чистоту своей человеческой души и протягивают руку человеку будущего.

В поэме «Гость и хозяин» Важа Пшавела борется против всех сковывающих человека форм, выработанных жизнью и нравами общины. Тем самым он стремился внести свой вклад в дело возрождения родного края.

Из этой поэмы ясно видно, какими солидными знаниями обладал Важа Пшавела в области истории и нравов горских народов. Глубокое знание жизни народа сочетается в поэме с богатой художественной фантазией.

Поэма построена на местном материале, и драматический конфликт, лежащий в основе ее сюжета, находит объяснение в нравах и обычаях горцев. Но вдохновение поэта, моральная чистота его устремлений, широта его художественных обобщений претворили образы поэмы, облеченные в «местные одежды», в образы общечеловеческого значения.

Поэма «Гость и хозяин», как и все другие значительные произведения Важа Пшавела, написана восьмистопным народным «шайри». Достойны внимания внутренняя экспрессия поэмы и ее композиционное строение. Она подобна скульптуре, высеченной из одной каменной глыбы. В поэме достигнуто полное слияние живописной образности и духовных устремлений поэта. В идиллическую сцену прихода гостя в семью Джохолы, которой начинается поэма, словно неожиданно врывается буря, и в дальнейшем большое душевное напряжение не оставляет читателя до конца, и кажется, что этим и создается в поэме ощущение композиционной стройности. В поэме имеется две или три паузы, внесенные автором словно для того, чтобы читатель мог передохнуть от бурного темпа развития драмы. Борьба общины с семьей показана в чередовании исключительных по драматичности картин, причем каждая художественная деталь тесно связана с общим миром поэмы.

Не будет преувеличением сказать, что характеры и челове-

ские страсти в этой поэме даны с поистине шекспировской силой и вдохновением. Рядом с мощными характерами Звиадаури и Джохолы мы видим нежный и привлекательный образ Агазы. И если Звиадаури и Джохолы — люди твердой воли, то община тоже не менее тверда в отстаивании своих убеждений. Да и природа тоже неумолима, сурова, ненасытна. Лишь горный цветок — пиримзе — такой же нежный и очаровательный, как Агаза. Когда природа смиряет свои страсти, пиримзе поднимает голову и вновь украшает своей красотой умиротворенный мир. Когда, в финале поэмы, встречаются тени трех ее героев, как раз в это время

...предначертан волей рока,
Непроницаемый для глаз,
Туман, как черная морока,
Скрывает витязей от нас...

И все исчезает во мраке. Но как только горный цветок пиримзе, подобно Агазе, возникает на фоне этой жестокой природы, она миг смягчается и снова становится привлекательной и красивой:

Шумит река в теснине черной,
Ущелье, кашляя, хрипит,
И лишь пиримзе, цветик горный,
В пучину бездны непокорной,
Головку вытянув, глядит.

Как бы оборотной стороной поэмы «Гость и хозяин» является поэма «Алуда Кетелаури». Если действие «Гостя и хозяина» развивается в селе кистинов, Алуда Кетелаури — хевсур, и поэма разворачивается на фоне хевсурского поселения. Если в первой поэме кистин Джохолы ради своего гостя-хевсура восстал против общины, Алуде понравился кистин Муцал, он пожалел его и не отрубил ему правую руку, тем самым нарушив закон рода. Судьбы кистина Джохолы и хевсура Алуды одинаковы. Алуда тоже восстал и противопоставил себя неразумному требованию общины: род требовал от Алуды, чтобы он, согласно обычаю, отрезал правую руку у убитого врага и принес ее в село, но мужество Муцала понравилось Алуде, у него словно раскрылись глаза, он не позволил себе надругаться над человеком, даже оружия не отнял у мертвого. Село возмутилось этим поступком Алуды и захотело сломить его непокорство, но Алуда оказался таким же стойким, как Джохолы из «Гостя и хозяина». И даже больше — он решил при-

нести жертву божеству для поминовения души погибшего врага. Это окончательно возмутило сородичей Алуды, и он был изгнан из родного села.

И в этой поэме, как и в «Госте и хозяине», гуманизм героя рождается из культа героизма и рыцарства. Алуде понравилось бесстрашие противника, он полюбил своего врага, и эта любовь стала основой его благородства. В поэмах Важа Пшавела почти везде чувство человеколюбия и уважения к человеческому достоинству возникает на почве героических дел и поступков, и когда это высокое чувство пробуждается в Алуде, он возвышается над остальными сородичами и вступает в борьбу с общиной. Алуда расстается с селом, с горами, но он ни на мгновение не расстается со своими убеждениями, унося их, подобно теплу родного очага, далеко за пределы своего края. И тем самым он выступает как победитель, гордо неся в поднятой руке факел своей веры и освещая ею путь к будущему.

По сравнению с «Гостем и хозяином» сюжет «Алуды Кетелаури» более лапидарен и прямолинеен. Драматизм этой поэмы лишь в столкновении Алуды и общины, но и эта поэма написана как бы одним росчерком пера. Основой «Алуды Кетелаури» послужила также народная поэзия. В одном из произведений грузинского фольклора рассказывается, как хевсур Алуда победил доблестного кистина. Поэт заимствовал из этого народного предания лишь имя героя и первый эпизод поединка, но все переделал так, что в поэме мало что осталось от ее первоисточника. Что же касается образного строя поэмы и ее идейного содержания, то все это представляет собой совершенно самобытное явление, независимое от народного предания.

В этих трех поэмах — «Бахтриони», «Гость и хозяин» и «Алуда Кетелаури» — ярче всего проявились народные, гуманистические идеалы Важа Пшавела, вся широта и глубина его поэтического мира, весь эпический размах его дарования. Вся философия поэзии и жизни поэта определяется прежде всего этими тремя поэмами. Но кроме них он создал еще несколько эпических шедевров.

6

Откуда и как возник у поэта замысел поэмы «Гоготур и Апшина» — неизвестно. Неизвестно также ни одного народного стихотворения, в котором можно было бы обнаружить зерно замысла этой поэмы. Но в воспоминаниях Важа Пшавела сохрани-

лось одно любопытное сведение, проливающее свет на данный вопрос. Поэт вспоминает, как отец его часто беседовал с детьми о существе героизма, наставлял, какими качествами должен обладать настоящий герой. Отец учил, вспоминает Важа, что заносчивость и показная удаля вовсе не есть свойство подлинного героя, что герой должен быть скромным, даже застенчивым, и лишь в исключительных случаях, по необходимости, должен проявлять свою непреклонность, смелость и бесстрашие.

Слова отца запали глубоко в душу Важа Пшавела, и художественное отражение их мы встречаем в поэме «Гоготур и Апшина». Здесь противопоставляются два народных героя: Апшина — горделивый, любитель показного блеска, и пшав Гоготур — скромный и застенчивый. Хвастливый Апшина терпит поражение в бою с Гоготуром. После поражения он осознает недостойность своего поведения и прячется от людей.

Особое место в творческом наследии Важа Пшавела занимает поэма «Змееед» — самая поздняя среди наиболее значительных его поэм. Из высказываний самого поэта явствует, что он придавал ей особое значение и возлагал на нее большие надежды. В своих статьях он всегда выделял «Змеееда» и «Гостя и хозяина». Поэт никогда прямо не сравнивал своей поэмы с «Фаустом», но, судя по его замечаниям, можно судить, что он считал «Змеееда» произведением фаустовского типа. Ни об одном из произведений Важа Пшавела не написано столько статей и исследований, сколько о «Змеееде». Эта поэма в свое время была признана произведением глубокой философской мысли и стала предметом самых разнообразных толкований. Некоторые исследователи ставили ее выше «Гостя и хозяина», «Бахтриони» и «Алуды Кетелаури».

Мы не можем согласиться с этим, но тем не менее «Змееед» в творчестве Важа действительно занимает важное место и является чрезвычайно знаменательным для него произведением. Поэма создана в пору зрелости поэта, и в ней обобщены результаты его глубоких философско-этических исканий. Поэма эта также построена на материале народной поэзии; поэт сопровождал ее характерным подзаголовком — «Старинный рассказ». Обширные фольклорные варианты народной легенды о змеееде были собраны и записаны после опубликования поэмы, и сейчас уже трудно судить о том, что именно дал поэту фольклор и что дала его поэма фольклору. В народных вариантах «Миндии» встречаются и такие мотивы, которые поэт обошел, которые не нашли в его поэме отзвука. Один из основных мотивов поэмы — постижение языка природы и приобщение к волшебной мудрости — встречается во всех фольк-

лорных вариантах легенды и, по свидетельству самого поэта, заимствован им из этого источника.

У Николоза Бараташвили сказано в одном из стихотворений: «Верю, что есть тайный язык у бесполох существ и мертвых предметов, и что этот язык значительнее всех живых языков». Некоторые литературоведы полагали, что эту лирическую мысль Важа Пшавела решил перенести в мир эпики и что он дал ей новое художественное обоснование. Одно бесспорно: в своем «Змеееде» Важа попытался создать поэтическое представление о гармонии, существующей между личностью и природой, и придал этой проблеме сугубо общественное звучание. Став змееедом, приобщившись к природе, постигнув ее тайный язык, Миндия всю свою мудрость посвятил народу, интересам общества. Гармония между личностью и природой представляется поэту не самоцелью, а необходимым условием для более полного самовыявления личности во имя интересов народа. Именно поэтому ошибаются те исследователи, которые усматривают в «Змеееде» пантеистическую проповедь. Миндия использует свою мудрость на благо народа, он известен в народе как мудрый советчик и лучший защитник родины, проникающий во все замыслы врага.

Однако семья и члены общины требуют от Миндии узко утилитарного применения его способностей — даже ценою нарушения того союза, который связывает его с природой и питает его мудрость. Люди, окружающие Миндию, все время выдвигают на первый план личные, семейные интересы. Миндия постепенно вынужден уступить им и совершает поступки, отчуждающие его от природы. Он утрачивает свою «мудрость», он уже не слышит «певучести в морских волнах», природа его наказывает — так же, как община наказала Алуду или Джохолу, преступивших ее законы. Но в данном случае как раз природа возвышала Миндию над общиной и сама община толкнула его на нарушение контакта с ней. Поэтому трагедия Миндии принимает иную форму, нежели трагедия Алуды и Джохолы: он наказан не потому, что отступился от общины, но потому, что подчинился ей, а подчинившись, стал для нее бесполезным и даже принес ей несчастье.

В поэме Миндия — центральный и единственно законченный образ. Все остальные персонажи поэмы служат лишь всестороннему раскрытию характера Миндии. Этот герой духовно близок автору; в его судьбе можно усмотреть какой-то далекий отзвук личной, семейной и общественной судьбы самого поэта.

Поэма «Змееед» своеобразное явление не только творчества Важа Пшавела, но и всей грузинской поэзии. Это — произведение

глубокого философского звучания, и в этом отношении оно может быть соотнесено лишь с некоторыми лирико-философскими стихотворениями Николоза Бараташвили.

Важа Пшавела создатель большого эпического мира в грузинской поэзии. Он автор тридцати шести поэм, и даже стихи, написанные им в лирической форме, в большинстве носят повествовательный характер. Он создал целую галерею могучих характеров — людей сильной воли и героического подвига. Мужественная песня Важа Пшавела близка и понятна людям нашего времени. Великий грузинский поэт, творчество которого проникнуто благородным, гуманистическим, народным духом, остается нашим верным и неизменным спутником.

Симон Чиковани

СТИХОТВОРЕНИЯ

АМИРАНИ

Вставай, Амирани, довольно дремать,
Пора черемши быстроногому дать.
Тому, кто отвергнут, и сон не к лицу,
Лишь горе да слезы под стать молодцу.

Народное сказание

Стоит он, могучий,
Прикован к скале.
Тяжелою тучей
Печаль на челе.

Под цепью старинной
Скращение рук.
Глаза паутиной
Опутал паук.

Одетый в скопление
Тяжелого льда,
Склонил он колени
В былые года.

И меч его ржавый,
Печалью томим,
Овеянный славой,
Застыл перед ним.

Ни люди, ни боги
Не помнят о том,
Как дэвы чертоги
Он рушил кругом.

И ждет только пёсий,
Единственный друг,
Когда же он сбросит
Железины с рук.

И лижет он цепи
Века напролет,
И в горы и степи
Страдальца зовет.

Но только оковам
Подходит конец,
В молчаньи суровом
Приходит кузнец.

И снова и снова
Он молотом бьет,
Покуда оковы
Опять не скует.

И снова несчастный
Стоит под горой. . .
Когда же безгласный
Воспрянет герой?

Когда Амирани
Наденет доспех
И слезы страданья
Сменяет на смех?

Как только в просторы
Протянет он меч,
И доли и горы
Поймут его речь.

Поля содрогнутся,
И небо вскипит,
И звезды взовьются
Под самый зенит.

Забудет о муке
Скопление вод,

И, вытянув руки,
Оно запоет.

И грянут раскаты
Громов, и тогда
За правду распятый
Воскликнет: «Беда!»

И над наковальней,
Разбитой во прах,
Тюремщик опальный
Заплачет в горах.

1884

* * *

По ущелью тянутся туманы,
Поднимаясь с каменного дна.
Радуются, словно басурманы,
Что земля во мрак погружена.
Всё в глазах слилось и потемнело,
Зря гляжу на горные хребты.
Горе мне! Не греет больше тело
Солнышко из этой темноты.
Так возьми ж, проклятый сумрак ночи,
Жизнь мою и растопчи во прах,
Вырви сердце, выключи эти очи,
Загрызи, безжалостный, в горах!
Ты куда стремишься в путь-дорогу,
Черный ворон, страж моих полей?
Поспеси хоть ты мне на подмогу,
Обними меня и пожалей.
Улетим отсюда мы с тобою
В дальний путь, в неведомый простор,
С милою простимся стороною,
Не увидим больше этих гор.
Полетим мы, ворон, над горами,
Понесемся в дальние края,
Обольемся горькими слезами
Вдалеке от милых — ты и я!

1886

ГОРЫ СЯТ

В ущелиях сгрудилась мгла.
Как братья, заполнив просторы,
К телам прижимают тела
Вечерние темные горы.
Луны опечаленный лик
Глядит из нахмуренной тучи,
И плещет в ущелье родник,
И плачет о чем-то певуче.
Вот всхлипнул он, тяжело дыша,
Откликнулся эхом несмелым
И смолк. . . И как будто душа
Рассталась с измученным телом.

Росой освежая листья,
Дохла прохлада тумана
И вниз потекла с высоты,
Скитаясь в горах неустанно.
И в этих извилинах мглы
Укрылись орлы и орлицы,
И с ними на ложе скалы
Замолкли и прочие птицы.
Сидят они, клюв опустив,
Безжизненны, серы, понуры. . .
С высокой горы под обрыв
Бесшумно спускаются туры.
Здесь черною шалью ночей
Закутано горное горло
И отблеск последних лучей
Туманное небо простерло.

Погасли пастушьи огни,
Ни конь не мелькнет, ни прохожий,
Лишь дикие звери одни
У каменных воют подножий.
На башнях дозорных застав
Нигде не видать караула.
Не виден по вмятинам трав
Разбойничий след из аула.
Один только звездный хорал
Доносит напев колыбельный:

«Привет вам, скопления скал!
Да сгинет ваш недруг смертельный!
Когда бы погибли и вы
В години суровые эти,
До нас не дошло бы молвы
О том, что творится на свете!»

Вот слева глядит в небосвод
Гергети, могучий владыка.
Вот Бóрбала справа встает,
И плачет она, горемыка.
Вот души усопших земли
Сквозь горные движутся щели,
И звезды померкли вдали,
И горы вокруг потемнели.
Найду ль я дорогу? Наверяд!
В горах по ночам страшновато.
Они же без просыпу спят,
И в мире им нет супостата.

1887

ПЕСНЯ ЖЕНИХА

Увидал я тебя, босоногую,
Пробегающую через двор.
Куропаточкою-недотрогою
Ты порхала по выступам гор.

Кто вскормил тебя грудью, любимая, —
Роза или фиалка полей?
Черноокая и нелюдимая,
Ты — владычица скорби моей.

Как сиротка без рода, без племени,
Не спеши от меня, не спеши!
Подари мне хоть капельку времени,
Не губи человеческой души.

Чтобы люди тебя не обидели,
За тебя я погибну, любя.
Пусть твои не болят родители,
Мне бы только увидеть тебя!

1887

ГИГИ

Тяжела кончина Гиги,
Пусть о ней не знают пшавы,
А узнают — пусть припомнят,
Как с неверными боролись.
В их сердца шипы вонзятся,
Нелёгко им будет нынче.
— Пшавы, пшавы! Где ваш Гиги,
Где его могучий лурджа?

— Из ружья убили Гиги,
Обагрили жаркой кровью.
Даже не дали, собаки,
Обнажить в бою франгули!
Не взлетел орел на небо,
Журавлей не распугал он,
Но навек запомнят пшавы
Меч прославленного Гиги.

Вот уж вырыта могила
Смуглолицему герою,
Мужа синяя рубаша
В дар отослана семейству.
А его несчастный лурджа
Плачет, мечется в конюшне,
Бьет о землю он копытом,
По хозяине тоскует.

— Где же, пшавы, меч героя,
Что сверкал змеиным жалом?
— Трижды в день он точит слезы,
Смерть оплакивая Гиги.
— А жена его, супруга,
Дочь Лухуми-хевисбери?
— До сих пор она, бедняжка,
Всё разыскивает мужа.

— Ну, а что теперь Джавара,
Мать загубленного сына?
— Сразу разума лишилась,
О его проведав смерти.
Сорвала с себя мандили,

Истерзала грудь старуха
И на лезвие кинжала
Пала, кровью обливаясь.

— А какое молвил слово
Тинибег, его родитель?
— Онемел с понижшим ликом,
А потом, как пламя, вспыхнул.
«О неверные собаки! —
Он вскричал. — Какого тигра
Загубили вы, злодеи!
Вот каков удел героя!»

— А какое молвил слово
Юный сын его Махаре?
— Потемнел он, словно туча,
Набежавшая на небо.
Точит, точит он франгули,
Чтоб отмстить врагу сторицей,
Чтоб его проклятой кровью
Обагриться в поединке.

— Ну, а где кольчуга Гиги,
Где стальные рукавицы?
— В бой он вышел без кольчуги,
Но гремел, как гром небесный!

1888

ГОРА И ДОЛИНА

Почему глядишь высокомерно
На долину, гордая гора?
Потому что ты крута, наверно,
А она полога и пестра?
Подымая льдистые вершины
И сверкая снежной сединой,
Ты гордишься чащами калины,
Горными цветами и травой.
Но взгляни в долину, на дорожки,
На сады, что зреют впереди, —
Это ль не жемчужные застежки
На расшитой золотом груди?

Иль тебе и розы не по нраву,
Иль тебе плоды не по нутру,
Или кахетинского на славу
Ты не хочешь выпить на пиру?
Не тебе ль сестра она родная —
Та долина, полная плодов?
Кровь героев рдеет, орошая
Эту зелень пастбищ и садов!
К ней стремятся, полные форели,
Реки, упавая с высоты.
На ее фундаменте доселе,
Укрепясь, владычествуешь ты.
Нет, гора, не следует гордиться
Перед той, с кем связана всегда, —
Стоит ей сквозь землю провалиться,
С ней и ты исчезнешь без следа!

1889

ОРЕЛ

Я видел: окруженный вороньем,
Упал орел, не в силах отбиваться.
Еще хотел бедняга приподняться,
Да уж не мог, и лишь одним крылом
Уперся в землю, и потоком крови
Весь обатрился, к смерти наготове.
Проклятье вам, стервятники могил!
В несчастный день меня вы сбили, гады!
А то бы я сегодня без пощады
Все ваши перья по ветру пустил!

1880-е годы

СТОН БЕСКОНЕЧНЫЙ

1

Вершину с вершиной сливая,
К скале прилепилась скала.
Природа от края до края
Ущельями их иссекла,

В горах, где нога человека
Еще не ступала досель,
Насильники-дэвы от века
Слыгут господами земель.
Ни волка тут нет, ни куницы,
Здесь тур не живет, круторог.
Чуждаются даже лисицы
Диковинных этих берлог.
В угрюмом убежище дэва,
Пугающем издали нас,
Одна только Горная дева
В вечерний является час.
Дитя красоты и соблазна,
В ущелье, где плещет родник,
Она, молода и прекрасна,
Вздывает пленительный лик.
Ее заплетенные косы
Девический кутают стан,
И в косах — вечерние росы,
И волосы точно туман.
Блуждая в горах до рассвета,
Поет она песнь в тишине
И дарит улыбку привета
Поднявшейся в небо луне.
Когда же луна золотая
Опустится в сумрак ночной
И звезды, бледнея и тая,
Погаснут одна за другой,
И ангел в небесное било
Ударит навстречу заре,
И души людей из могилы,
Как тени, пойдут по горе, —
Тогда лишь умолкнет певица
И вновь удалится туда,
Где между камней струится
Ручья ледяная вода.
В пещере укроется дальней
Под грохот подземных ворот,
И станет темней и печальней,
Чем был до сих пор, небосвод.

Над скопищем гор громоздится
 Скала из огромных камней,
 И ястреб, отважная птица,
 Не смеет приблизиться к ней.
 Из этой скалы вознесенной
 Томительный слышится стон.
 Землею и мхом приглушенный,
 И страшен и тягостен он.
 «О боже, творец мироздания,
 Услыши молитву мою!
 Немыслимо эти страдания
 Терпеть мне в родимом краю!
 Доколе, о боже, доколе
 Нам муки от дэвов терпеть!
 Коль жить невозможно на воле,
 Позволь бедняку умереть!
 Взглянуть бы хоть глазом единым
 На светлое царство земли,
 Где реки сбегают к долинам,
 Где горы синеют вдаль!
 Где плавают в небе, сверкая,
 Днем солнце, а ночью луна,
 Где злом и добром промышляя,
 Людские живут племена!
 Поднять бы мне меч мой и снова
 Рубить и рубить наповал
 Обидчиков мирного крова,
 Разбойников каменных скал!
 Быть может, весь люд перерезав,
 Они уже кости грызут,
 А я, сокрушающий бесов,
 Томлюсь, замурованный тут!»

1890

ЖАЛОБА МЕЧА

— Заржавел ты, славный горда,
 Плесень тронула ножны.
 Иль тебя хозяин гордый
 Снять не хочет со стены?

— Сгинул, сгинул мой хозяин,
Пал в сражение за Шамхор.
Сорок раз в бою изранен,
Пролил кровь у края гор.

Удалец Тамар-царицы
И защитник очага,
Он, зажав меня в деснице,
Устремлялся на врага.

Нынче мир подобен лавке,
Доблесть нынче не в цене,
Оттого и я в отставке
Плесневею на стене.

Здесь меня в уплату долга
Часто лавочник берет,
И тогда лежу я долго
На прилавке возле счет.

Миновало семь столетий
С той поры, когда картвел,
Просыпаясь на рассвете,
И точил меня и пел.

Почему на радость людям
Вновь не скажет мне герой:
«Меч! копьё славы не добудем,
Не воротимся домой!»

1890

ОЖИДАНИЕ

Как пушинка, к вершине горы
Прилепилась полоска тумана
И задумалась там до поры,
И в пути задержалась неожиданно.
Привлекаемый запахом скал,
Веет там ветерок с небосвода.
Как Иуда себя проклинал,
Так себя прокликает природа.

— Что ж ты, тучка, прижалась к скале
И чего ожидаешь в тревоге?
— Приглядишь, человече, к земле:
Враг стоит у меня на дороге.
Иль не видишь, что засухой здесь
И поля и сады опалило,
Что народ убивается весь
И житье ему больше не мило?
Вон с какой безутешной мольбой
Взор ко мне устремило селенье,
Дескать, дождиком землю омой,
Упаси от беды-разоренья!
И задумалась я, и гляжу,
И молю всемогущее небо,
И прибавить мне силы прошу,
Чтоб поля не оставить без хлеба.
Нагруженная тяжким дождем,
Я бы стала великою тучей
И на всем протяжении моем
Как поток разразилась могучий.
Я хочу, чтобы пел соловей,
И, склонясь на груди перевала,
Я с зажженной свечою моей
Перед господом богом стояла.

1892

УТЕШЕНИЕ

Утешен я и жажду утешенья:
Душа пылает пламенем горнил.
К родной стране приверженный с рожденья,
Я в этом мире зла не сотворил.
О, кто бы видел в час изнеможенья,
Как я рыдал, какие слезы лил!

Отдав земле присущее земное,
Небесное я небу отдавал,
Не пресмыкался, мысля о покое,
Парил, как сокол, возле этих скал,
Украсил я и горы и долины
Красою слов, и ныне у огня

Картлийцы, кахи, и имеретины,
И абахезы слушают меня.

Чтоб славных дедов чествовали внуки,
Я тени предков вызвал из гробниц,
Облобызал их доблестные руки,
Оплакал шрамы мужественных лиц.
Я оживил рукой животворящей
Останки их величественных тел,
Вернул булат им, острый и блестящий,
Венки на них лавровые воздел.

Как летний дождь в степи необозримой,
Я напоил иссохшие поля.
В моей душе не гаснет лик любимой —
И этим тоже утешаюсь я.
Не мыслил яму рыть я для соседа,
А тех, кто рыл, клеймил я день и ночь,
Не отнимал у ближних я обеда,
Но сам стремился ближнему помочь.

И пеньем труб и громом барабана
Я о любви к собратиям взывал.
Я вдунул душу в тело истукана,
Вложил язык в уста немые скал.
Я изукрасил царственную статью
Любую травку... В эти времена
Поистине небесной благодатью
Была рука моя осенена.

1894

ПЕСНЯ

Ты на том берегу, я на этом,
Между нами бушует река.
Друг на друга мы с каждым рассветом
Не насмотримся издалека.
Как теперь я тебя поцелую?
Только вижу смеющийся рот.
Перейти сквозь пучину такую
Человеку немислимо вброд.

Не пловцы мы с тобой, горемыки,
Нет ни лодки у нас, ни руля.
Не ответит нам небо на крики,
Не поможет нам в горе земля.
Целый день ожидая друг друга,
Мы смеемся сквозь слезы с тобой.
Я кричу, но не слышно ни звука, —
Всюду грохот и яростный вой.

Умирает мой голос тревожный,
Утопающий в бурной реке...
Как теперь я в тоске безнадежной
Проживу от тебя вдалеке?
И не лучше ли смерть, чем томленье,
Чем бессильные эти слова?
Нет, пока ты видна в отдаленье,
До тех пор и надежда жива!

1890-е годы

БАКУРИ

— Элизбар, поведай людям,
Что у вас случилось в Его,
Как проклятые лезгины
Захватили дом Бакури?
— Не хочу терзать я сердце
Этой старою печалью.
Что слова! Великой силой
Славен доблестный Бакури!
Мне ж, несчастному, отныне
Остается лишь могила.
— Почему ты унижаешь
Сам себя такую речью?
— Потому что я не в силах
Лгать и хвастать понапрасну:
Не помог я там герою,
Жизнью сладостной прельстился...
Если б вы могли увидеть,
Как сражался там Бакури!
Не простит вовек мне совесть,
Что живым я в плен попался, —

Мысль об этом униженьи
До сих пор меня терзает,
И потупившись брожу я,
Разогнуть не в силах спину.
— Элизбар, но ты ж не струсил,
Не бежал, а если в битве
Невредимым ты остался,
В том греха большого нету.
Много разного народу
Нам об этом говорило,
О тебе никто доселе
Не сказал худого слова.
Расскажи нам всё, как было,
Утоли желанье наше!
— Подошло большое войско,
Окружили нас лезгины.
Целых восемь дней из ружей
Мы из крепости стреляли.
Сами женщины, спасибо,
Нам отмеривали порох.
На восьмые сутки видим —
Истожились все запасы,
Вышел порох, вышли пули,
Нету сил сопротивляться.
Без воды, без сна, без пищи
Истомились мы, ослабли,
Изменил нам рок неверный,
Пусть врагов постигнет то же!
И пошли, пошли лезгины,
И ударили внезапно,
И досталась наша крепость
Гулхадарцам и дидойцам.
«Стойте, люди! Что такое? —
Крикнул в ужасе Бакури. —
Как же мы детей и женщин
Отдаем врагу на гибель?
После этого позора
Разве можно жить на свете?»
И душа его, как пламя,
Разом вспыхнула, и сердце,
Как кремень, окаменело,
И зажглись огнивом очи.

«Лучше собственной рукою
Я убью их!» — он воскликнул,
И жене своей и детям
Снес он головы, безумец.
И рванулся он к воротам,
Я вослед за ним рванулся
И заметил, как, взлетая,
Засмеялся меч героя.
И двенадцать он лезгинов
Уложил мечом в воротах,
И когда ослабли когти,
Лег тринадцатым на землю...

1899

БЕРИКАУЛИ

Точит меч Берикаули,
Думу думая свою.
Водит каменным точилом
По стальному лезвию.
Уж давно свой меч старинный
Не снимал он со стены —
Заржавел клинок булатный,
Села копоть на ножны.

Собирается толпою
Перед старцем молодежь:
— Что с тобою, дед, случилось?
На кого ты в бой идешь?
Без тебя осиротели
И топор твой и коса! —
Хмурит бровь Берикаули,
Слыша эти голоса.

— Неразумные вы дети!
Иль не знаете о том,
Сколько я махал доньше
И косой и топором!
Стар уж я. В лесу и в поле
Протекла вся жизнь моя,
Но за пазухой не дремлет
Подколотная змея.

Кто подаст мне корку хлеба?
Где мой нищенский обед?
До сих пор молчал я, дети,
А теперь терпенья нет.
Не косою — мечом булатным
Помахать пришел черед, —
Верно, он один сегодня
От врага меня спасет.

И взметнул Берикаули
Брови, полные седин.
— Полно, дед! Ведь молодые
Выйдут в битву как один.
— Нет, — вздохнул Берикаули. —
До тех пор, пока седой
Не падет на поле битвы,
В бой не выйдет молодой!

1905

ОСЕНЬ В ГОРАХ

1

Похолодало. В тумане
Горы слились и ущелья.
Листья на желтом платане
Словно отведали зелья.
Что ж это вы задрожали,
Рощи, как будто в испуге,
Что ж это вы покидали
Летние ваши кольчуги?
Что ж это поздней порою
В горе, тоске и бессильи
Вы пред холодной зимою
Голову быстро склонили?
Только олень круторогий
Бродит, кустарник ломает,
Громко трубит на дороге,
Самку к себе подзывает.

Точат осенние тучи
 На́ землю долгие слезы,
 Смотрят на горные кручи, —
 Где тут фиалки и розы?
 Припоминая о лете,
 Влагу несут для растений,
 Но и родителям дети
 Стоят подчас огорчений:
 Нету ни роз, ни фиалок,
 Нет ни в горах, ни в долинах,
 И бесприютен и жалок
 Мир без растений невинных.
 И огорченные тучи
 Мечутся, слезы роняя,
 И уплывают, могучи,
 В сторону дальнего края.

Ночью покрылись мгновенно
 Снегом крутые высоты.
 Кончив с покосами, сено
 Мечут крестьяне в омёты.
 Некогда медлить народу,
 Ибо, по здешним приметам,
 Прахом пойдет в непогоду
 Всё, что сработано летом.
 На́ небе звезды мерцают,
 Стелется по́ полю иней.
 За нос морозец кусает
 Ночью холодной и синей.
 В небе косяк журавлиный
 С севера вытянут к югу —
 Стелется выводок длинный,
 В теплую мчится округу.
 Крылья раскинув устало,
 Целые сутки несется.
 Только б погода стояла —
 Птица с пути не собьется.
 Только б орлы не напали
 В остервенении диком!
 Вон как встревожены дали
 Птичьим рыдающим криком!

Вот уж и овцы в долину
Двинулись — стадо за стадом,
Словно большую лавину
Вниз понесло водопадом.
С ними козлы-верховоды,
Сабли рогов обнажая,
Двигутся, как воеводы,
Видом своим поражая.
Рядом, бесхвостые с детства,
Важно шагают собаки —
Это наилучшее средство
От нападения во мраке.
Вслед за собаками — кони
Вместе с рогатой скотиной;
Все они как на ладони
В пойме Арагвы долинной.
Видно, горé поневоле
В мире почета не стало.
Все ее чтили, доколе
Клевером стадо питала.
Ныне она оскудела
И до весны разорилась,
Тварь, как от хворого тела,
Прочь от нее устремилась.
Только горé ли бояться?
Лишь зацветут ее склоны,
Снова к ней твари слетятся,
Словно на падаль вороны.
Вновь без стыда и смущенья
Будут топтать ее травы,
Снова пастушьи строенья
Выстроят возле дубравы.

Эх ты, гора-горемыка!
В наших селеньях покуда
С мала мы все до велика
Жили с тобою не худо.
Летом кормила нередко
Горца ты, словно хозяйка,

Грела его, как наседка,
Будь он простой попрошайка.
Летом долина на взгорье
Лезет и требует пищи,
И пропитание вскоре
Прячет в своем кулачище.
Вот почему она в холод,
Как изобильная чаша,
И утоляет наш голод,
Словно кормилица наша.
Пусть же прославится богом
Вместе с горой и долина!
Горы и доли во многом —
Благословенье грузина.
Скажет им всякий спасибо,
Кто не заменит рассудка
Чревом бессмысленным, ибо
Существованье — не шутка.
Горы спасают от зноя,
Доли скрывают от стужи.
Ждут от обоих покоя
Наши смиренные души.

4

Что тут поделаешь! Лето
Сгинуло, нет его боле.
Птицы в сияньи рассвета
Не распевают на воле.
Взяв топорышки и косы,
Пилы повесив на спину,
Пшавы спешат на покосы
И на работу в долину.
Все их с тоской провожают,
Ждут не дождутся возврата...
Дома очаг окружают
Женщины, старцы, ребята.
Дети, немывы и голы,
Скачут и бегают в сенцы.
Плачут, завернуты в полы,
Лежа по люлькам, младенцы.

Вся небольшая лачуга
Ходит от стука чесалки.
Женщины друг подле друга
Трудятся, сидя у прялки.
Ветер поет, завывая,
Хлопает дверью дарбаза.
Старца гурьбой окружая,
Требуют дети рассказа.
Этих рассказов зимою
Не перескажут им деда —
Как стародавней порою
Бились они до победы.
Тут же мы варим хинкали,
Следуя древним заветам.
Те, кто хоть раз их едали,
Век вспоминают об этом.

5

Часто под звуки чонгури
Мы развлекаемся пеньем,
Чтобы не спятить от дури
В сумраке этом осеннем.
Деньги — для многих утеха,
Нам же ненадобны банки.
Нам для веселья и смеха
Пляшут по-пшавски горянки.
Рядом в веселом задоре
Скачет толпа ребятишек,
И невеликое горе,
Если иной без штанишек.
Собранный женщиной, или
С речки ослом привезенный,
Хворост горит в изобильи,
Светит очаг разожженный.
О, как бывает приятно
Телу от этого жара!
Также для сердца отраднo
Слышать и песнь сазандара.
Путник, прибывший из Рачи,
Широкоплечий и бритый,

Всем пожелает удачи,
Дудкой гудя знаменитой.
Сладостно, как Таризла,
Он вознесет и урода.
Та, что лишь беды терпела,
Станет утехой народа.
Мы над смешным посмеемся,
Над безутешным поплачем.
Если ж на пир соберемся,
То попоем и поскачем.
Стоит захныкать ребятам —
В рот им сушеную грушу,
И, величая себя там,
Пьем мы за милую душу!

6

Вот на исходе пшеница,
Нету в запасе ни пуда,
Хоть с молотьбой торопиться —
Правило здешнего люда.
Осенью мы не успели
Снять своевременно злаки:
Ливни за нею летели,
Как за хорунжим казаки.
Уж ничего мы не мелем —
Всем жерновам остановка.
Мельники свыклись с бездельем.
Где их былая сноровка!
Кое-как держатся пшавы!
Мельники женского пола
Сами пускают поставы,
Ищут зерно для помола.
Тут что ни шаг, то и ссора,
Следом за ссорой и драка.
Можно ль не драться, коль скоро
Ринется в бой забияка!
Если толкач деловито
Ходит, стучит над пшеницей, —
Будьте спокойны, что Чито
Сладит с любой озорницей.

С ней и Этури и Дуга —
Злая свекровь и невестка.
Кто б ни обидел, но тут-то
Вовремя будет отместка!
Этим воинственным бабам
Только б ругаться да драться.
Где уж там мельникам слабым
С ними, шальными, тягаться!
Чито страшней, чем берданка,
Все ее знают замашки.
Дуга с Этури-шайтанкой —
Как занесенные шашки.
Горе тебе, коль с такими
Встретишься ты в одиночку!
Мельник, и тот перед ними
Не заведет проволочку.
Он понимает прекрасно,
Что безнадежно ругаться,
Что тяжело и опасно
С ними тремя состязаться.

7

Осенью с каждым мы разом
Зорче глядим на вершины:
Низко ли, меряем глазом,
Снег опустился в ложбины.
Близится зимнее время,
В наши заходит пределы,
Тащит тяжелое бремя —
Насморки, кашли, прострелы.
Скалит нам зубы, хохочет,
Ластится и лицемерит,
Но навсегда опорочит
Тех, кто обману поверит.

8

Только охотники рады
Да смельчаки звероловы:
К ружьям готовят заряды,
Вновь на охоту готовы.

Вот уж по первому снегу
След протянулся олений.
Рядом медведи к ночлегу
Шли вдалеке от селений.
Белки большими хвостами
Куньи следы замечают,
Туры с витыми рогами
К горным вершинам шагают.
К ним не подступишься, даже
С собственной жизнью играя.
Всё же охотники наши
Рыщут от края до края.
Вот и снежок закружился,
Словно пришли мукосеи,
Пухом на кровли спустился,
Запорошил галереи.
Много нам зимними днями
Вытерпеть горя придется!
Бросьте же хворосту в пламя,
Ешьте, что дома найдется!
Тем, кто остался без пищи,
Худо в несчастьи этом.
Стонет от холода нищий,
Как говорится, и летом.
С ним остается мечтанье
О неизведанном счастье,
Благо, что есть основанье —
Зимнее это ненастье. . .

1910

ПОЧЕМУ Я СОЗДАН ЧЕЛОВЕКОМ

Песня

Почему я создан человеком?
Почему, исполненный красы,
В сонме туч, в высоком мире неком,
Не рожден я капелькой росы?
Отчего никто меня не мечет
Ни дождем, ни вьюгою с высот?
Чем иным владыка мой излечит
Грудь мою от горя и забот?

Взял бы он меня к себе обратно
И не разлучался бы со мной,
Чтоб не жить мне в мире безотраднo,
Не бороться с горькою судьбой.
И, любуясь солнцем и сверкая,
Плыл бы я в безбрежные края, —
Сверху небо, снизу грудь земная,
Оба вместе — родина моя.

Как бы любовался я ватагой
Этих гор, взирая с высоты!
Там, моей напитанные влагой,
Поднялись бы вешние цветы.
Отдавал бы сердце молодое
Утром солнцу, вечером луне,
Орошал иссохшую от зноя
Эту степь в родимой стороне.

Превращенный в снежные кристаллы,
Не грустил бы я и в холода,
Ибо, сверху падая на скалы,
Умирал бы там не навсегда.
Был бы я лишь несколько мгновений
Как бы мертв, а там, глядишь, опять
Возвратился в этот мир весенний,
Чтоб его с улыбкою обнять.

1913

ПАМЯТИ ДАВИДА ГУРАМИШВИЛИ

О, как тяжело ноет сердце,
О, какая в теле дрожь!

Д. Гурамишвили

Дед мой славный и предтеча!
Снова я стишки крою
И, склоняясь, издалеча
Лобызаю тень твою.

Верный сын родного края,
Изнемогший от шипов,
Ты о чем, ко мне взывая,
Умолять меня готов?

Все зовут меня поэтом,
Я же Лаба, старый бык.
Под ярмом на свете этом
Нас немало, горемык.

Видишь, я без одеянья,
У жены — одно тряпье,
И одни твои рыдания —
Пропитание мое.

Потрудиться сердцем надо,
Чтоб сварить такой обед,
Но лишь он — моя отрада
И спасенье с малых лет.

И хоть нет трудам предела,
Продолжаю я алкать,
И меня за это дело
Ты не должен обвинять.

То бренчу я на чонгури,
То царапаю стишки,
То рыдаю, полный дури, —
Видишь сам мои грешки.

Впрочем, может быть, забота
Мне действительно к лицу.
Помогите ж, ты и Шота,
Неискусному певцу!

Вся душа моя в томленьи,
Вся в огне гортань моя.
Перед вами на колени
Упадаю, нищий, я.

Дайте мне, играя в лело,
Завершить победный путь
И, представ пред вами, смело
В очи ясные взглянуть!

1913

ПИСЬМО СОЛДАТА-ПШАВА

Мать, фиалкой голубою
Расцвети на этот раз,
Не терзай себя тоскою,
Не томи слезами глаз.
Тот, кто ранен был в сраженье,
Не обижен здесь судьбой.
Все мы живы, тем не мене
Завтра вновь уходим в бой.

Здесь любой боец дивится
Дивной стойкости грузин:
Так велит Тамар-царица,
Мы пленцы ее дружин.
Мы о Грузии мечтаем
Здесь, в России, день и ночь,
Боевым трудом желаем
Нашей родине помочь.

Благоденствие отчизны
Мы не даром достаем:
За него мы наши жизни
И здоровье отдаем.
Здесь на каждого героя,
Светозарен и могуч,
С высоты, в разгаре боя,
Упадает длинный луч.

Здесь на радость всем картвелам
В полуночной вышине
Некий муж, прекрасный телом,
Пролетает на коне.
Скачет он в ночном пожаре,
Шашку вытянув вперед.
Мать моя! То сам Лашари
Нас на подвиги ведет.

Но когда умолкнут ружья
И разрывы батарей,
И тревога и удушье
Из души уйдут моей, —

Снова мысленно я с вами,
Где чесалки слышең стук,
Где омыла ты слезами
Пряжу мне на архалук.

Коль ты слезы пролила там,
Будет крепок он вдвойне,
Не пробьешь его булатом,
Не сожжешь его в огне.
Ночь давно, а ты о ложе
И не думаешь ничуть...
Дай тебе, великий боже,
От заботы отдохнуть!

Снова трубы затрубили,
Снова надобно туда,
Где пальба, где в избылье
Кровь струится, как вода.
Лишь бы жить родному краю,
Лишь бы не было беды!
Но зачтут ли нам, не знаю,
Наши ратные труды.

Не достался бы в добычу
Воронью родимый край!
Снова трубы в битву кличут,
Снова гонят нас... Прощай!
Где пальба, где кровь людская —
Снова надобно туда.
Я иду. Твой сын, родная,
Не был трусом никогда.

1915

ЗАВЕЩАНИЕ

Не нужно жаловаться, дети,
На то, что много разных дел
Не довершили мы на свете
И вам оставили в удел.
Увы, наш век был веком чувства,
Мы жили горестью одной,

И не познали мы искусства
Спасенья родины больной.
Неподходящий для геройства
И неподатливый весьма,
Наш век губил живые свойства
Людского сердца и ума.
Бараташвилевский Мерани
Теперь вам грезится опять,
И снова нас томит желанье
О судьбах Грузии узнать.
Ужель мой стих, облит слезами,
Погибнет здесь, в родном краю?
О, если б крикнули вы сами
В могилу тесную мою:
«Забудь, поэт, свои печали,
Загробных слез своих не лей:
Сыны отцов, мы тоже встали
За дело родины своей!»

ПОЭМЫ

ГОГОТУР И АПШИНА

(Старинный рассказ)

I

Во всем роду Миндодаури,
Как говорят в селенье Бло,
Один Апшина, полон дури,
Худое выбрал ремесло.
Он грабит недруга и друга,
И, словно ханская казна,
Его разбойничья лачуга
Добром захваченным полна.

Но нам известно и другое:
Сильней Апшины Гоготур,
Чуть только двинет он рукою —
На землю падает хевсур.
Однажды, полон восхищенья,
Изволил царь о нем сказать:
«Мой Гоготур в пылу сраженья
Сильней, чем тысячная рать.
Его десница из булата,
А сердце — кованая медь,
Любого может супостата
Он усмирить и одолеть.
Он сотни раз проверен мною.
Как ангел смерти величав,
Толпу врагов перед собою
В смятенье гонит этот пшав.

Так ветер гонит вдаль солому,
Так ураган несет ладью...
Должно быть, служат удалому
Святые ангелы в бою».

Не раз просил его владыка
Собой украсить царский двор,
Но своенравный горемыка
Не захотел покинуть гор.
«О царь, — твердил он, — жизнь в долине
Не для меня. Подумай сам,
Какая выгода дружине,
Коль я спущусь в долину к вам?
Когда меня не овевают
Прохладный горный ветерок,
Моя душа изнемогает
И не могу я, видит бог,
Ни пить, ни есть... Томясь от скуки,
Брожу я в мире сам не свой.
Нет, мне не вынести разлуки
С моей родимой стороной!»

Одно тревожит Гоготура:
Уж в продолжение двух лет
Оружью пшава и хевсура
Работы подходящей нет.
Но он и дома не без дела,
Он землю пашет день-деньской,
Ворчит: «Война, так бейся смело,
А нет — размахивай косой.
Великий грех для земледела
Ходить с оружием на разбой».

И мало, что ему неведом
Обычай зверский грабежа, —
Чтоб поругался он с соседом,
Не помнит ни одна душа.
Бывало, старую чинару
На плечи взвалит и несет,
Иль за деревней Копча пару
Оленей вдруг подстережет.
Домой лишь к вечеру вернется,

Присядет возле очага,
Покурит трубку, а взгрустнется —
Пандури снимет с косяка,
Зальется песней удалою,
Да так, что вздрогнет потолок,
А коль притопнет вдруг ногою —
Земля уходит из-под ног.

II

Известно, женскую натуру
Не ставят издавна ни в грош:
Что ни приспичит бабе сдуру,
Хоть вынь ей, глупой, да положи!
И то ей надо, и другое,
И как ты с нею ни хорош,
Болтает, не дает покоя,
А что болтает — не поймешь.
О славе мужа возмечтает —
Ей все другое трын-трава!
Пусть грабит он и убивает,
Она одна во всем права.
Пусть он и кстати и некстати
Своим орудует мечом,
Лишь только б шелковые платья
Ей доставались нипочем.

Пристала баба к Гоготуру:
«На черта силища тебе,
Когда, бездельничая сдуру,
Всегда покорен ты судьбе?
Зачем тебе твое дреколье,
К чему тебе твой франкский меч?
Смотри, он рвется на раздолье,
Чтоб головы летели с плеч,
А ты ни с места. Поневоле
Слезами должен он истечь.
Коль ты и вправду молодчина,
Ударь кого-нибудь мечом!
Хоть оборви башку с кистина,
Но возвратись с его добром.

Болтают люди: у Апшины
Весь конь украшен серебром».

«О чем ты мне толкуешь, баба? —
Серdito отвечает муж. —
Мозги ворочаются слабо
Иль от безделья мелешь чушь?
Мне жизнь бы вмиг осточертела,
Когда б я ел чужой кусок,
И не твое, болтунья, дело
Судить-рядить про мой клинок.
Чесала б лучше шерсть, дуреха,
Носки вязала б для ребят.
Махать мечом тогда неплохо,
Когда нагрянет супостат.
Еще не кликнул царь могучий:
«К оружию, славный мой народ!
Пускай из Пшавии дремучей
Выходят воины в поход,
Пусть Гоготур, подобный туче,
Их в бой за родину ведет!»
Нет! Видно, время не пришло
Мой меч из ножен вырвать вон:
Рубить врагов он может смело,
Но для друзей не страшен он.
Когда грозили басурмане
И шли с оружием на нас,
Я гнал их войско с поля брани,
Как стадо туров гонит барс.
Я семь мечей до рукояти
Иссек в боях, кинжал — восьмой.
Коль ты не ведьма в бабьем платье,
Скажи, к чему упрек мне твой?»

«Да я к тому клоню, несчастный,
Что не кормилец ты семье.
Что пользы дому, коль опасный
Твой враг в позоре и ярме?
Подумаешь! А что с собою
Принес с войны ты, кроме ран?
Кичиться славою одною
Не сладко, если пуст карман!»

И в огорчении великом
Поднялся витязь, полный сил,
И, подпоясав чоху лыком,
Свой меч на пояс прицепил.
Огромный, тяжкий, словно древо,
С женой он спорить перестал,
На спину щит закинул слева,
Кремневый справа самопал
И так сказал: «Довольно брани!
Поеду я на мир взглянуть.
Быть может, и твои желанья
Исполню я когда-нибудь!»
И, усмехнувшись на прощанье,
Пустился витязь в дальний путь.

III

Была весна. Цвели фиалки.
Надев весенний свой убор,
Цветами покрывались балки
И зеленели склоны гор.
Последний стаял снег в лощинах,
Расселись птицы по кустам.
Самец-олень, рога раскинув,
К зеленым тянется листам.
Мир под весенним покрывалом
Глядит спросонок в глубь реки,
Где мчит Арагва вал за валом,
Ломая камни на куски.
Сочится влага вниз по скалам,
В верховьях тают ледники.

У камня древнего Копалы
С глубокой думой на челе
Пшав, наподобие обвала,
В своем качается седле.
Навстречу доблестному мужу,
Веселой песнею звеня,
Какой-то всадник гонит лурджу —
Голубоватого коня.
Привыкший к крови и победам,

Нарядной чохою покрыт,
Летит гулякой он отпетым,
Лишь пыль летит из-под копыт.
Увидел витязя Апшина
И усмехнулся, удивлен,
И наскочил на исполина,
И грубо выругался он,
И меч его блеснул старинный,
Рукою дерзкой обнажен.

Разбойник рвется в бой опасный,
Как подобает удальцу:
«Сдавай оружие, пшав несчастный,
Оно бродяге не к лицу!
Ну, что глядишь, беды не чуя?
Зовут Апшиною меня!
Живей, не то скажу мечу я:
— А ну-ка, сбрось его с коня!»

И захотелось Гоготуру
Узнать поближе молодца.
«Взмолюсь-ка, — думает, — хевсуру,
Прикинуть, будто я — овца.
Пойдет ли он на преступленье,
Или беднягу пощадит?
Неужто в нашем он селенье
Не по заслугам знаменит?»
«Да что ты, братец? Да за что же? —
Сказал он вслух. — Ведь я не пес!
Я человек, как ты, и тоже
Я не в навозной куче рос.
Коль и взаправду ты Апшина,
Побойся бога, удалец!
Ведь без меча я не мужчина,
Ведь без оружия мне конец.
Как снова сяду на коня я,
Как посмотрю на солнце я?
— Не муж ты — тряпка ты дрянная! —
Родная скажет мне семья.
Неужто я не лучше тряпки?
Молю тебя, воитель скал,

Не заставляй ходить без шапки,
Чтоб издевался стар и мал.
Ты человек великой славы,
И я не враг тебе, герой.
Коли избавишь от расправы,
Навеки раб я буду твой!»

«Не время, пшав, болтать с тобою,
Снимай оружие с дюжих плеч!
Должно быть, редкостного боя
Твое ружье и дорог меч.
Уже семь дней, как никого я
Не мог в ущелье подстеречь.
Снимай ружье без промедленья,
Не то заставлю жрать песок,
И поплывешь ты по теченью,
Как пень, обрушенный в поток!»

Снял Гоготур свой меч старинный,
И шит, и верный самопал,
И поравнялся он с Апшиной,
И неожиданно сказал:
«Итак, гоняясь за добычей,
Ты предаешься грабежу?
Стой, негодяй! За твой обычай
Тебе я череп размозжу!»
И злоба в сердце Гоготура
Неистовая поднялась,
И он сорвал с седла хевсура,
Избил его и бросил в грязь.
Лежит грабитель на дороге,
Позеленевший, чуть живой,
Хотел бы встать, да руки, ноги
Скрутил противник бечевой.
Скрутил и молвит: «Если сдуру
Тебя терпели до сих пор,
Ты захотел и Гоготуру
На шею сесть, проклятый вор?
Ты не хотел послушать пшава,
Тебе злодейство нипочем,
За это я имею право
Теперь владеть твоим мечом.

Твой конь мне также пригодится,
Не откажусь и от коня,
Ему ль служить у нечестивца?
Пусть лучше служит у меня».

Весь почернев, лежит Апшина,
Горит от злобы и стыда.
Бормочет: «Что за чертовщина,
Откуда эта мне беда?
Ты с виду, витязь, словно туша,
И неуклюж и не удал.
Но как я доблестного мужа
В твоём обличье не узнал?
Тебя зовут непобедимым,
И впрямь ты крепок, словно тур.
Хотел бы я, чтоб побратимом
Ты был мне, славный Гоготур!
Хоть стыдно мне, но заклинаю —
Мои доспехи возврати,
А нет, так я предпочитаю
С твоим кинжалом спать в груди».

«Ага, теперь ты стал умнее,
Теперь-то ты увидел сам,
Куда ведут твои затеи
И каково сносить их нам!
Что может быть на свете хуже,
Чем потерять свой добрый меч?
Коль отдал муж свое оружие,
Ему осталось в землю лечь!
Забыл ты господа, Апшина!
Мы оба в Грузии живем.
Так как же смеешь ты, детина,
Обезоруживать грузина,
Когда враги кишат кругом?
Зачем, бессовестный бродяга,
Ты всюду рыщешь, словно вор,
Как черноухая собака,
Чужой обнюхиваешь двор?
Ты голоден? Скажи об этом,
Я дам баранины бедра!

А ты мошенником отпетым
Чужое копишь серебро!
Махать мечом тебе охота?
Ты на рожон желаешь лезть?
Найдется и тебе работа —
Врагов у нас немало есть!
Когда их сотня устремится,
Чтобы стереть тебя в песок,
И утомится вдруг десница,
И переломится клинок,
Но ты другой клинок достанешь
И, налетая на отряд,
Врагов рубить не перестанешь,
Весь потный с головы до пят, —
Тогда скажу я, что достоин
Носить ты меч, что ты герой,
А коль не так — какой ты воин?
Ты хуже бабы, милый мой!

У тех, кого ты мог доныне
Громить и грабить без стыда,
Отваги нету и в помине,
Им биться с витязем — беда.
Ходить бы им за бабой следом
Да пресмыкаться у крылец!
Жаль, что доселе был неведом
Тебе удалый молодец.
Нет, мне не впрок твое оружие,
Ходившее кривым путем, —
У Гоготура меч не хуже,
Кинжалов, ружей полон дом.
Вставай, Апшина, бог с тобою,
Бери оружие и коня!
Но помни: хвастаясь собою,
Не забывай и про меня.
Будь мне свидетелем Копала,
Ты в честь Хахматского Креста
Все то, что здесь с тобою стало,
Откроешь людям дочиста!»

И, развязав Апшине руки,
Беднягу поднял Гоготур,

И встал Апшина, полон муки,
И так сказал он, слаб и хмур:
«Считал столпом непобедимым
Себя я, глупый, но теперь
Сидеть мне дома нелюдимом
И нос не высунуть за дверь!
Давай друг друга мы обнимем,
Я полюбил тебя, поверь!»

И обнял витязя Апшина,
Поцеловался с удальцом
И тотчас вынул из хурджина
Бурдюк, наполненный вином.
Враги под старою чинарой
Расположились на привал.
Апшина, рог наполнив старый,
Таковую здравицу сказал:
«Живи, могучий пшав, доколе
С небес спускается роса,
Пока под солнцем зреет поле,
Пока качаются леса!
Покуда куль базарной соли
Не принесет нам муравей,
Пусть Крест Лашарский в сей юдоли
Хранит тебя рукой своей!»

И слово здравицы ответной
Сказал Апшине Гоготур:
«Пусть и тебя тропой заветной
Ведут святыни, мой хевсур!
Чуждайся, витязь, святотатства,
Простись навеки с грабежом,
И пусть отныне наше братство
Цветет и крепнет с каждым днем!»

И серебра с ножен кинжала
Апшина в водку наскоблил,
И каждый, как друзьям пристало,
Свой рог охотно осушил.
В довольстве, дружбе и веселье,
Как дети матери одной,

Они друг другу песни спели,
Обычай справив вековой,
И, напоив коней в ущелье,
К себе отправились домой.

IV

Еще далеко до рассвета,
Хоть глаз коли от темноты.
Могильным саваном одеты,
Томятся горные хребты, —
Они и посредине лета
Стоят закованные в льды.
Одни лишь туры там гуляют
Над крутизною диких скал,
Да из ущелья завывает
Хевсурской речки мутный вал.

Вот на окраине селенья,
Подъехав, кто-то стукнул в дверь:
«Жена, вставай без промедленья,
Не время нежиться теперь.
За бабью глупость ты отныне
Крестом Хахматским проклята,
Ты не чета теперь Апшине,
Как месяц солнцу не чета.
Прими неистового лурджу,
Возьми кольчугу и клинок,
Отдай их доблестному мужу,
Кто первым вступит на порог.
Пусть он, мечом моим владея,
Получит даром и коня.
Ты слышишь, что сказал тебе я?
Зачем не смотришь на меня?
Уж не ездок я в чистом поле,
Теперь я бедный домосед,
И от несчастной этой доли
Спасенья мне на свете нет!»

Прошло три месяца. С постели
Больной Апшина не встает.

Забыв про удадь и веселье,
Вздыхает он и слезы льет.
Он раны сердца удалого
Не залечил, не рассказав,
Как лиходея-пустослова
Смирил в бою могучий пшав.
Во всем признался он общине,
Он ничего не утаил,
И пред святынею отныне
Смиренно голову склонил.

У

Хевсуры-воины в Хахмати
Справляют празднество. У врат
Святой молельни, словно братья,
Мамука с Миндией стоят.
Вон Хирчла к капищу подходит —
Муж, закаленный на войне.
Очей с воителей не сводят
Их жены, стоя в стороне.

Хевсуры пиво льют рекою,
Вздывают кубок круговой,
Овечьи головы горою
Уже лежат перед толпой.
И, выходя из низкой двери
К толпе, собравшейся вокруг,
Творит дидэбу хевисбери. . .
Апшина, ты ли это, друг?

Благоговевя пред святыней,
Он молит небо за народ:
«Будь нам заступником отныне,
Святой Георгий, наш оплот!
Храни десницей нас нетленной
От поражений и обид,
Чтоб был во всех концах вселенной
Хевсурский воин знаменит!»

Но есть в народе слух упорный,
Что на краю селенья Бло,
Едва лишь полог ночи черной
Покроет сонное село,
Не раз слышали над рекою
Хватающий за сердце стон:
«Увы мне, мертвому герою!
Не я ль при жизни погребен?»

1887

АЛУДА КЕТЕЛАУРИ
(Из хевсурской жизни)

I

В Шатиль ворвался верховой,
Кричит: «Беда! Кистины-воры
Чинят на пастбище разбой
И лошадей уводят в горы!»
На сходке, чтимый всем селом,
Алуда был Кетелаури —
Муж справедливый и притом
Хевсур, отважный по натуре.
Немало кистов без руки
Оставил он на поле боя.
У труса разве есть враги?
Их много только у героя.
Теперь они средь бела дня
Его похитили коня
И гонят весь табун к высотам
Через Архотский перевал,
Чтоб конь ногами потоптал
Луга, поросшие осотом.
Алуда, слыша эту речь,
Отбил кремень, проверил пули
И наточил свой верный меч —
Благословенный свой франгули,
Чтобы клинок не оплошал,
Эфес попробовал ладонью...
И вот — рассвет. И сокол скал
Летит за кистами в погоню.

Встречая солнечный восход,
Индейка горная поет,
Собаки дремлют возле стада.
В горах приметив след копыт,
Алуда по следам летит.
А вот и те, которых надо!
Галгайцу-вору одному
Плохая выдалась минута:
Послав заряд вослед ему,
С коня свалил его Алуда.
Скатился книзу головой
Злодей, застигнутый зарядом,
Но не сробел кистин второй
И за ружье схватился рядом.

И грянул гром средь тишины,
И сорвалась плита в ущелье,
И на Алуду с вышины
Осколки пули полетели.
«Не ранен ты, неверный пес?» —
Галгаец закричал сердито.
«Промазал ты, неверный пес, —
Гуданский Крест — моя защита».
И снова пламя пронеслось —
В кистина выпалил Алуда.
«Что, получил, неверный пес?» —
«Ой, не бреши, я цел покуда!» —
«Ты цел? А шапку ты забыл?
Эге, Муцал, не зазнавайся,
Ведь я насквозь ее пробил!
Спалило волосы, признайся!» —
«Высок, бедняга, твой прицел,
Ты череп пулей не задел!»
И грянуло ружье Муцала,
И у хевсура на боку,
На радость меткому стрелку,
Пороховницу разорвало.
«Ужель ты цел, неверный пес?» —
Опять кричит Муцал сердито.
«Как видишь — цел, неверный пес,
Гуданский Крест — моя защита.
Гуданский Крест — заступник мой,

Он укрепил мою десницу.
Не думай, что окончен бой,
Коль ты пробил пороховницу.
Теперь, уж коль на то пошло,
Не должен я в долгу остаться!»
И пуля просвистела зло
И раздробила грудь галгайца.
«Ну, каково, неверный пес?» —
Вскричал Алуда, торжествуя.
«Пробил ты грудь, неверный пес,
Теперь недолго проживу я.
О горе! Середь бела дня
Досталась жизнь моя Алуде.
Убил он брата и меня, —
И это ль божье правосудье!»

Но не желает умирать
Муцал, и струйку черной крови
Травой пытается зажать,
Держа оружие наготове.
Собрав все мужество свое,
Стреляет он врагу навстречу,
И снова промах, и ружье
Бросает он с такою речью:
«Владей же им, неверный псс,
Ему не место у другого!»
Едва он это произнес,
Как на устах застыло слово.

Но чудо! — мрачен и понур,
Не смотрит на ружье хевсур
И слезы медленные точит,
И хоть добыча дорога,
Неустрашимого врага
Обезоружить он не хочет.
Ружье с насечкой дорогой
Кладет на труп, залитый кровью,
Влагает в руку меч стальной,
Кинжал приладив к изголовью.
Заветам древним вопреки,
Не рубит правой он руки,
Грехом не хочет оскверниться.

И шепчет трупу он: «Муцал,
Ты как герой в сраженьи пал,
Была крепка твоя десница!
Пускай она истлеет в прах,
Покоясь на могучем теле,
Чтобы не радовался враг,
Прибив ее в своем ущелье.
Хорошую ты мать имел,
Коль от нее таким родился!»
Кистина буркой он одел,
Покрыл щитом и удалился.

II

Блеснуло солнце с высоты,
Исчез туман, пропали тени.
Как дэвы, горные хребты
Прижались к небу в отдаленьи.
Крыла могучие открыв,
Поднялся ястреб — недруг птичий,
Вслед за орлом пронесся гриф,
За даровой спеша добычей.
Десятки туров в ледниках
Рассыпались. На их рогах
Господня милость опочила.
В овраге ворон-людоед,
Почуяв пред собой обед,
Кричит пронзительно-уныло:
«Погиб Муцал, любимец гор,
Глаза я выключу герою!»
И крылья хищник распростер
Над неподвижной головою.

Еще в Шатиль не долетал
Луч восходящего светила, —
Природа выступами скал
Всё небо там загородила.
Алуда едет сам не свой,
Спешит домой над горной кручей.
Лицо его покрыто мглой,
Из сердца медленно плывущей.
К седлу прицеплена, висит

Десница младшего кистина,
Меч хорасанский, знаменит,
Покрыт чеканкою старинной.
Алуда едет возле скал,
Где башня высится Имеды.
Зимой грохочет здесь обвал,
Чиня бесчисленные беды;
Здесь летом пули в стену бьют,
Потоки гор бегут к жилищу
И гриф, безжалостен и лют,
Парит, высматривая пищу.
Но нерушима в сердце гор
Имеды башня вековая,
И вражьи руки до сих пор
Висят на ней, под солнцем тая.
Напрасно беспощадный змей
Подножье башни подгрызает, —
Сегодня ливень бьет по ней,
А завтра солнце засияет.
Что ж делать? В схватках боевых
Немало юношей лихих
Здесь распростилось с головами.
Не раз ардотский злобный вал
Потоки крови принимал
И клокотал под берегами.

Кому вражда всего милей,
Кто сеет бедствия повсюду,
Тот должен в хижине своей
Людскую кровь собрать в запруду.
Пусть он ее из кубка пьет,
И в хлебе ест, и, словно в храме,
Хвалу святыне воздает,
Крестясь кровавыми руками.
И пусть он, радостный жених,
Гостей на свадьбу приглашает,
Пускай за стол сажает их
И в луже крови ублажает.
И пусть постель постелет в ней,
И пусть возляжет в ней с женою,
И народит себе детей,
И наслаждается семьею.

И пусть он мертвым ляжет тут
В свою кровавую гробницу. . .
Коль ты убил — тебя убьют,
Род не простит тебя, убийцу!

Гудит Шатиль. На кровли хат
Хевсурки высыпали роем.
Выходит с родичами брат,
Чтоб поздороваться с героем.
Узнать о новостях спешит
Народ, собравшись отовсюду.
«Хвала тебе, лихой джигит!» —
Толпа приветствует Алуду.
Вот выступает пред толпой
Старик по имени Ушиша,
И говорит ему герой,
Расспросы первые услыша:
«Я за кистинами чуть свет
Отправился через отроги
И, заприметив свежий след,
По краткой их нагнал дороге.
Их было двое. Одного
Сразил я быстро иноверца,
Муцал же, бог спаси его,
Имел железо вместо сердца». —
«Что мелешь? Место ли в раю
Неверной басурманской твари?» —
«Ушиша, доблесть я хвалю,
Ее не купишь на базаре!
Три раза бил в меня Муцал,
Три раза выстрелил в него я,
И третья пуля наповал
Сразила славного героя.
Но рану он заткнул травой
И в исступленьи беспримерном,
Теряя силы, чуть живой,
Меня ругал он псом неверным.
Эх, лишь себя считаем мы
Людьми, достойными спасенья,
А басурманам, детям тьмы,
Пророчим адские мученья.

Всё, что твердим мы невпопад,
Сыны господни лучше знают.
Едва ль всю правду говорят
Те, кто о боге вспоминают.
И понял я, что отрубить
Десницу храбрую негоже, —
Убудет слава, может быть,
Но голос сердца мне дороже».

В ответ кислее диких слив
Мгновенно сделались хевсуры
И, злобу в сердце затаив,
Сказали, пасмурны и хмуры:
«Уж лучше мертвым в землю лечь,
Чем врать тебе про эти страсти!
Ну что ж, сними, пожалуй, меч,
Брось бабам вместо ткацкой снасти.
Отдай и щит им заодно,
Чтоб подбивать основу ткани;
И пистолет немудрено
Им превратить в веретено,
Коль ты покинул поле брани.
Ты убежал от кистов, пес!
Ты бабой стал! Убил Муцала,
А что ж десницу не привез?
Зачем тебя в погоню гнало?»
И повернулись все спиной
К Алуде, полные презренья,
И поднялись к себе домой,
И опустело всё селенье.
Стоит Алуда одинок,
Насмешкой злобною уколот.
Впервые нынче, видит бог,
Его корит и стар и молод.

За спину свой закинув щит,
В селенье Миндия въезжает,
Весь в медной сбруе, конь храпит,
Клинок насечкою сверкает.
За многолетнюю борьбу
Герой прикончил двадцать кистов,

И конь его, с луной на лбу,
Был, как олень, в бою неистов.

Встречает Миндию село,
Алуду лает словом бранным.
Нахмурил Миндия чело
И возразил односельчанам:
«Брехать из вас умеет всяк,
Чтобы напакостить герою.
Пусть так же быстро сгинет враг,
Как я вам истину открою.
Не посчитаю я за труд
Слетать на место поединка.
Недаром мне известна тут
Любая горная тропинка.
Обратно ждите вы меня,
Едва закатятся Плеяды!» —
И тронул Миндия коня,
И вихрем прынул из ограды.

III

Стемнело. Плачет лоно вод,
Покрылся мраком небосвод.
Пора сиять вечерним звездам,
Пора росе упасть в траву
И мертвым душам наяву
Блуждать и плакать над погостом.
Вот дэвы из расселин скал
Выходят сумрачны и хмуры.
Поужинав чем бог послал,
Ко сну готовятся хевсуры.

«Алуда, съел бы хоть кусок», —
Алуду молят мать с сестрою.
«Не голоден я, видит бог,
Не знаю, что стряслось со мною.
Вчера приснилось мне, что я
На тризне был и чье-то тело
Лежало тут же и семья
Вокруг покойника сидела.

Готовые идти в поход,
Хевсуры плакали при входе.
Я с ними был и в свой черед
Рыдал, как принято в народе.
Уж было время выступать,
Вдруг призрак мертвого Муцала
Вложил мне в пальцы рукоять
Продолговатого кинжала.
Стальной кольчугою одет,
Стоял кистин со мною рядом,
И на груди был виден след,
Моим оставленный зарядом.
Сухою заткнутый травой,
Кровоточил он и дымился,
Но как скала стоял герой,
И ни единою слезой
Взор храбреца не увлажнился.
«Алуда, — он проговорил, —
Еще живу я против воли.
Ударь кинжалом что есть сил,
Чтоб не ходил я к людям боле.
Добей меня, чтоб я ушел
Из этой жизни безотрадной,
Чтоб были люди ваших сел
Враждою сыты беспощадной».
Я сел за стол едва дыша,
Мне оправдаться было нечем.
И кто-то дал мне не спеша
Похлебки с мясом человечьим.
И в ужасе я начал есть,
А в миске клокотала пена,
И из нее то там, то здесь
Торчали руки и колена.
«Ешь! — кто-то крикнул надо мной. —
Что ты дрожишь при виде трупа?
Чтоб сытым гость ушел домой,
Прибавьте-ка Алуде супа!»
И снова ел из миски я,
Давился чьими-то усами...
Измучил этот сон меня,
Весь день стоит перед глазами».

IV

Порозовели гребни скал,
Туман сгустился на отроге.
Село проснулось. Засновал
Народ досужий по дороге.
Витая в небе голубом,
Взлетели грифы за добычей,
Но как ни бьют они крылом,
На небе след не виден птичий.

Кто через речку вброд спешит,
Поит коня у водопоя?
«Вернулся Миндия!» — кричит
Народ, приветствуя героя.
«О чем узнал на этот раз?» —
С расспросом лезут пустомели.
«Эх, молоды вы! Кровь у вас
Еще кипит и бродит в теле.
Пока рассудок не в чести
И верховодит вами сердце,
Готовы голову снести
С любого вы единоверца.
Однако богатырский нрав
Не прихоть вам и не причуда.
Поистине Алуда прав,
Клянусь я богом, прав Алуда!
Не верите? Вот вам рука
В бою убитого кистина.
Не распускайте ж языка
Про тех, чья совесть неповинна».
И, приподнявшись на коне,
Он руку подает Алуде:
«Возьми, припей ее к стене,
Чтоб на нее смотрели люди».

«Я сам бы мог ее отсечь,
Но мне ненадобна десница.
Не подойдет она на меч,
На щит она не пригодится.
Не выйдешь с нею на покос,
Не сделаешь крючок для сена...

Напрасно ты ее привез,
И так в крови я по колено.
Коль в бога веруешь, молю,
Возьми обратно кисть героя, —
С тех пор как он погиб в бою,
Навек лишился я покоя.
К чему, хевсуры, вам галдеть?
Зачем вам злиться на Алуду?
Сражаться буду я, но впредь
Бесчестить мертвых я не буду». —
«Нет, будешь! С дедовских времен
Десницы рубим мы кистинам!» —
«Увы, хевсуры, плох закон,
Грехом отмеченный старинным!»

У

Настали праздники. Село
Спешит к молельне благочинно.
Чтобы от сердца отлегло,
Усердно молится община.
Немало женщин и мужчин
Пришло с быком или с бараном,
Чтоб принял жертву властелин —
Заступник их на поле бранном.
Кто с затуманенным челом
Подходит молча к хевисбери?
Клинок сверкает серебром,
Бычок стоит у самой двери.
«Скажи, Алуда, за кого
Приносишь жертву ты сегодня? —
Спросил с порога своего
Служитель капища господня. —
Наш властелин — Гуданский Крест —
Велик и силен над селеньем,
И все рабы его окрест
Сильны его благоволеньем.
Хевсуров любит властелин,
Поверь, среди них не ты один
Угоден праведному небу.
Кому ж ты хочешь честь воздать?»

И, обнажив кинжал, читать
Он собирается дидэбу.

«Я эту жертву приношу
За некрещеного Муцала.
Благослови ее, прошу,
Чтоб честь героя не страдала.
Исполни, Бердия, обряд,
Бычка я, видишь, не жалею,
Чтоб не попал галгаец в ад,
Подобно вору и злодею!»

«Что? Ты неверного почтить
Желаешь, как христианина?
Иль ты рехнулся, может быть,
Прикончив этого кистина?
Бывало, дед и прадед твой
Гордились каждою победой.
Побойся господу, герой,
Наветам дьявольским не следуй!
Как, не пойму я, сорвалось
Из уст твоих такое слово?
Впервые разве довелось
Убить тебе кистина злого?
Стыдись! Над башнею твоей
Десницы их висят от века.
Ты можешь мост через ручей
Сложить из них для человека.
Что толковать нам про быка!
Ты и козленка-сосунка
Не заколол за эти годы, —
И вдруг, извольте, славословь
Тебе собачью эту кровь
Из трижды проклятой породы!
Пусть небо наземь упадет,
Пусть вся земля испепелится,
Когда, несчастный сумасброд,
За киста буду я молиться!»

В испуге Бердия затих,
Затрясся в страхе у порога...

«Не отвергай меня, старик,
Коль ты взаправду веришь в бога!
Я — раб Гуданского Креста,
Хевсур я, преданный святыне,
И мы с тобою неспроста
Принадлежим к одной общине». —
«Напрасно треплешь языком,
В беспутной речи мало толку!»

Алуда вспыхнул и лицом
Мгновенно стал подобен волку.
И выхватил он франкский меч,
И сталь на солнце засверкала,
И голова бычачья с плеч
Перед молельнею упала.
И молит господу герой:
«Не засчитай во грех, владыка,
Что жертву собственной рукой
Заклал тебе я, горемыка.
Не посчитай за лютый грех
Святую жертву за Муцала, —
Он был в бою отважней всех,
Таких героев нынче мало!»

И, ошестившись в ответ,
Народу крикнул хевисбери:
«Смотрите, люди, ваш сосед
Уже не думает о вере!
Рукой он собственной заклал
Быка за подлого кистина!
Неужто думает бахвал,
Что пощадит его община?
Сомкнитесь около меня,
Сыны хевсурские! Покуда
Не пустим в дело мы огня,
Не образумится Алуда.
Пойдем размечем, разнесем
Его жилище! Пусть отныне,
Изобличенный всем селом,
Он ищет крова на чужбине.
Гоните прочь его ребят,
Жену, достойную проклятья!

Пускай в Гудани завоят
Его двоюродные братья!
Громите башню наглеца,
Сжигайте все запасы хлеба!
Пусть наши радуется сердца
Огонь, поднявшийся до неба.
Его баранов и овец
Возьмите в общее владенье.
Да проклянет его творец!
Он не достоин сожаленья».

И стали сумрачны, как ночь,
Вокруг собравшиеся люди,
И даже Миндия помочь
Не в силах бедному Алуде.
Скрестил он руки, строг и хмур,
Едва удерживая слезы,
А из толпы шальных хевсур
Уже посыпались угрозы.
Ревет толпа пьяным-пьяна,
И лязг мечей подобен буре,
И, побледневший как стена,
Ударов ждет. Кетелаури.

И в этот миг перед толпой
Мальчишек высыпала стая,
Сухой отрубленной рукой
Перед собою потрясая.
«Привет вам, мужи! Добрый час! ---
Сказал один из них учтиво. —
Я кисть врага достал для вас,
В награду дайте ковшик пива.
Огромный ворон, друг могил,
Ее к утесу уносил,
Я выстрелил в него из лука,
И ранен был в крыло злодей,
И уронил он из когтей
Свою добычу возле луга».

«Хевсуры, — Миндия сказал, —
Вот та кистинская десница,

Из-за которой стар и мал
Сегодня ропшет и грозитя.
Ее Алуде я принес,
Но он не взял ее, бедняга,
И я тогда же под откос
Швырнул ее на дно оврага». —
«Нам песьи лапы не нужны! —
Воскликнул Бердия, пылая. —
Мы не питомцы сатаны,
Хевсуры мы, владельцы края!»
И вновь десницу под откос
Швырнул собаке на съеденье,
Но не берет подачки пес,
Сидит и воет в отдаленьи.
«Смотрите, — Бердия твердит,
Весь ошетинившись от злости, —
Народ недаром говорит,
Что пес не жрет собачьей кости!»
И руку киста на крючке
Мальчишки целый день таскают. . .

VI

Бушует вьюга. Вдалеке
Ущелья снегом засыпает.
Шумя и воя, с голых скал
В овраг срыгается обвал,
В снегу тропинка потонула,
И синий лед и белый снег
Сковали лоно горных рек,
И не слышать речного гула.

Кому там жизнь недорого?
Кто там бредет навстречу бедам?
Шагает путник сквозь снега,
И пятеро плетутся следом.
Завыли волки за бугром. . .
Рыдает женщина: «Беда мне!
Где наш очаг? Где отчий дом?
Теперь там ворон бьет крылом
И камня больше нет на камне».

Алуду умоляет мать:
«Постой, сынок, я ослабела,
Уж не под силу мне шагать,
Жена твоя отстала Лела.
Совсем ребята извелись,
Заледенели, видно, ноги. . .
Куда, забравшись в эту высь,
Бредем в снегу мы, без дороги?
Неужто твой ненужен труд
Хевсурам нашего селенья?
Где мы найдем теперь приют?
Получим где успокоенье?
Куда б мы только ни пришли,
Нас обольют потоком брани,
И никогда родной земли
Мы не увидим в наказанье.
Теперь-то вижу я сама,
Как трудно с родиной расстаться!
Сошла от горя я с ума,
Пора в могилу собираться.
Тьма в сердце прянула столбом,
Дрожат, не двигаются ноги.
Где ты, могильный отчий холм,
Родные горные отроги?»

«Довольно, бабы, причитать! —
Алуда отвечал сурово. —
Иди вослед за мною, мать,
Пути не видно здесь иного.
Не накликайте гнев Креста,
О людях не судите худо!»
И на родимые места
Один лишь раз взглянул Алуда:
«Прощай, прощай, родимый дом,
Прощай, моя охота турья,
Где солнце мне светило днем,
Где по ночам стонала буря!
Прощай, мой Крест, мой властелин,
Податель силы и отваги!»
И путники среди теснин
Исчезли в холоде и мраке.
Оцепенели гребни скал,

Там ветер крылья распластал,
И за уступом перевала,
Где след метелью занесен,
Как отдаленный робкий стон,
Рыданье женщины пропало.

1889

КОПАЛА

(Старинное сказание)

I

Померкло сиянье луны,
Попрятались звезд караваны.
Скитаньями утомлены,
Спустились в ущелья туманы.
Проплакав всю ночь напролет
И думая горькие думы,
Одни только горы с высот
Взирали на землю, угрюмы.
И где-то внизу, в забытьи,
Стекая по склону увала,
Сквозь мутные слезы свои
Арагва во тьме бормотала.
И плакала в чаще сова,
Печальница дикой пустыни, —
От горя живая едва,
Рыдает она и поныне.
И выло зверье по лесам
За темной стеной можжевелин,
И жалобы птиц к небесам
Летели из горных расселин.
Задумав напиться воды,
Олень показался в ущелье,
Но страшные дэвов следы
Вниманьем его завладели.

И прынул обратно рогач
При виде беды неминучей,
И к зарослям бросился вскачь,
И скрылся в трущобе дремучей.

Но вот замолчали леса
И вой прекратился звериный,
И новых существ голоса
Возникли над самой долиной.
То там появляясь, то тут,
В обличии грозных колоссов
Угрюмые дэвы идут,
Спускаясь толпою с утесов.
Звериный у каждого взгляд,
Ладони в крови человеческой,
И бурки, свисая до пят,
Напялены сверху на плечи.
Идут друг за другом они,
Торопятся вниз к водопою,
И боже тебя сохрани
С такой повстречаться толпою!
Всё ищут каких-то примет,
Всё смотрят, спустившись с утеса,
Не смел ли какой дармод
Напиться из речки без спроса.
Всё бродят в потемках ночных,
Туманные, как привиденья. . .
И, слушая возгласы их,
Молчит, притаившись, селенье.
Молчит, как кладбище, оно,
Смертельную чуя истому,
Никто за водою давно
Не смеет здесь выйти из дому.
И звери в урочища гор
Уходят из чащи окрестной,
И птицы в небесный простор
Летят за росой небесной.
И сходит от жажды с ума
Несчастливых людей вереница.
Брат брата убьет задарма,
Лишь только бы крови напиться!

А дэвы из груды костей,
Одной человечинной сыты,
Выводят ряды крепостей, —
И нет от проклятых защиты.

Кто брата оплачет, когда
В селеньи отчаялся каждый?
Кто дэвов рассеет стада,
Коль тело измучено жаждой?
Как только запахнет грозой
И туч обнаружатся пятна, —
Злодеи взмахнут булавой,
И тучи уходят обратно.
Немногого недостает, .
Чтоб смерть, воцарившись в отчизне,
Родной поглотила народ,
Присвоив название жизни,
Чтоб люди бродили в крови,
Чтоб стал безобразен и жалок
Венчающий образ любви —
Прекрасный веночек из фиалок.
Кому они будут нужны —
И ясного солнца сиянье,
И сладостный пламень луны,
И трав молодых прозябанье,
И ласточек вешних полет,
И рокот ручья у селенья,
И вечный времен оборот,
И трель соловьиного пенья, —
Кому, если в мире земном
Исчезнет последний калека?!
И дэвы исчезнут притом,
Когда изведут человека.

Зачем не поможет господь
Своим обездоленным чадам?
Зачем не рассыплется плоть
У дэвов, пропитанных ядом?
Ужель он покинул людей,
Творец и владыка вселенной?
Ведь если являлся злодей,
Защитой он был неизменной.

Его мы привыкли считать
Заступником бедного люда.
Неужто его благодать
Не явит нам нового чуда?

II

В лесу всё темней и темней. . .
Здесь дуб венценокосный, осина,
И вяз, и ряды тополей
Сплелись меж собой воедино.
Луч солнца с великим трудом
Сюда проникает сквозь чащи,
Здесь стелется мутным пятном
Туман испарений пьянящий.
Сюда не ступала нога
Охотника и дровосека,
Лишь туры, раскинув рога,
Паслись в этой чаще от века.
Здесь лапами барса примят
Раскидистый дягиль к камням,
Здесь зверю следы говорят
О трепетном беге оленьем.
Родник из высокой травы
Здесь льется в ущелье, рыдая.
Здесь жалобным плачем совы
Пернатых распугана стая. . .

Но чаща, где царствует зверь,
Украшена некой молельней.
Из камня устроена дверь,
На кровельке — крест самодельный.
Их с неба создатель хранит,
Здесь лес укрывает стеною. . .
Но что там за старец стоит
С багряным щитом за спиною?
Он в правой руке булаву,
А в левой распятые сжимает.
Струясь из очей, на траву
Слеза за слезой упадает.
Зачем так печален старик?

О чем умоляет он бога?
Вдруг небо открылось, и вмиг
Сверкнуло огнем у порога.
И сонмы господних сынов,
Таинственных и светлолицых,
Явились среди облаков
С мечами в простертых десницах.
И девять светил поднялось,
И множество лун засверкало,
И всё мирозданье насквозь
Прозрачно и видимо стало.
И крикнули божьи сыны
Великому старцу Копале:
«Низринь супостатов страны,
Взмахни булавою из стали!
Господь призывает тебя
Отмстить за людей неповинных!»
И дэвы завыли, скорбя,
В урочищах гор и в долинах:
«Нас пламенем яростным жжет,
Обуглилась, лопнула кожа!
Смертельной отравой с высот
На нас ты обрушился, боже!»

III

И вздрогнули горы, и с гор
Посыпались камни в ущелье,
И руку Копала простер,
И стрелы его зазвенели.
Давимые глыбами скал,
От стрел убегая опасных,
Заполнили дэвы провал
Скоплением тел безобразных.
Кто вырастил эти тела,
Подобные скалам Гергети?
Какая трущоба могла
Взлелеять чудовища эти?
Как мог этот старец седой
Сразить их ударом единым?
Едва он взмахнул булавой,
Конец наступил исполинам!

Их головы не отрастут,
Сердца не научатся биться,
И гибнут проклятые тут,
Еще не успев расплодиться.
И смрадом несет на поля
От этих чудовищ безглавых,
И змеи, хвостом шевеля,
Из луж выползают кровавых.
«Умри, нечестивая рать! —
Гремит заклинанье героя. —
Настал вам черед умирать,
Восставшим на племя людское!
Куда ты бежишь от меня,
Насильник проклятый Бегела?
Ужель ты боишься огня,
Терзавший Пшаветию смело?»

И души погибших убийц
Посыпались в бездну, стеная,
И там на повергнутых ниц
Бесовская кинулась стая.
Пристал, подбочась, сатана
С расспросами к новоприбывшим,
А те отвечают со дна:
«Мертвы мы и больше не дышим.
Пришел нам, несчастным, конец,
Смело нас волной огневою.
Какой-то великий храбрец
Побил нас своей булавою.
И вытекли наши глаза,
И силу утратило тело,
И жить нам под солнцем нельзя,
И тьма не укроет всецело».

Так темные силы земли,
Свой дом основав в преисподней,
Укрылись от мира вдали,
Гонимые силой господней.
Им сверху какой-то песок
На голову сыплется в безднах,
И в сырости каждый продрог,
И в снах изнемог бесполезных.

Куда им податься, скажи!
Подземные заперты двери.
Исчезли мечи и ножи,
Доспехов не видно в пещере.
И нету надежды, увы,
Разрушить препятствия эти. . .

IV

Светает. И в листьях травы
Алмазы блестят на рассвете.
Смеется Арагва. Ее,
Обратно в долину сбегая,
Приветствует хором зверье
И птичек приветствует стая.
И туры, рога опустив,
Торопятся к речке напиться,
И крылья раскинувший гриф
На трупы убитых садится.
А ланям спуститься к воде
Какая сегодня отрада!
Они побывали в беде,
Но все-таки выжило стадо.
И, вытерпев столько невзгод,
С кувшинами, полными снова,
Идет по дороге народ,
Приветствуя старца честного.
И вышел на правильный путь
Заблудшийся мир, и растенья
Торопятся влаги хлебнуть,
И слышатся крики олени.
И тигр с полосатым хвостом
Лакает из лужицы воду.
Как только он вынес, Ростом,
Тяжелую эту невзгду!
И тучи плывут в вышине,
И тьма благодатна ночная,
И звездочки сонмом огней
Усеяли небо, сверкая.
И сердце природы опять
Дивится величию вселенной,

И незачем миру страдать
С его красотой несравненной.
Смотри: уж фиалка вдали
Цветет, как невинная дева, —
Отныне невесте земли
Не страшно стенание дэва.

V

Все горы дождем исклестав,
На землю гроза налетела.
«Куда ты несешься стремглав,
Душитель проклятый Бегела?»
Бегела бежит впереди,
К священной торопится сени
И, лапы скрестив на груди,
Встает перед ней на колени.
«Принес я, Копала, оброк,
Нарушил я предков заветы.
И щит мой возьми, и клинок,
И золото, и самоцветы.
Есть девять у дэвов пещер,
Наполненных доверху золотом,
Доспехи на разный размер
Убором там блещут богатым.
Отныне всё это твое,
Бери, запирай в погребницу!
И всё же на племя мое
Напрасно ты поднял десницу.
Ужель ты не знал, что и мы,
Душой устремленные к богу,
Из мира печали и тьмы
Искали в бессмертье дорогу?
Хочу, чтобы с этого дня,
Когда я в великой печали,
Считал вседержитель меня
По святости равным Копале.
Могущества дэва лишен,
Добьюсь я божественной власти.
Не тот ли на свете смешон,
Кто сносит покорно напасти?»

И что ты за воин такой,
Владеющий силой господней?
Я выше тебя головой,
А телом крупней и добротней!
Молись же скорее, старик,
Проси господина вселенной,
Чтоб в душу мою он проник
И силой облек несравненной.
Коль в сердце сойдет благодать,
Забуду я эту утрату
И буду тебе помогать,
Как брат благородному брату».

«Немало ты мне набрехал,
Немало наплел ты, гадюка!
Но бога опутать, бахвал,
Не слишком простая наука.
В слепом озлобленьи своем,
Коль некуда стало деваться,
Ты хочешь, орудуя злом,
Добром, как щитом, прикрываться!
Ты черного мрака черней,
Вместилище яда и тлена!
Добро под рукою твоей
Во зло превратится мгновенно.
Чтоб в эти проникнуть дела,
Тебя я проверю сначала».

И крест над исчадием зла
Торжественно поднял Копала.
«Целуй! . . .» — И Бегела к кресту
Кровавою тянется пастью,
И корчится в смертном поту,
И бьется, застигнут напастью.
И грома раздался раскат,
И молния с неба слетела,
И, пламенем смертным объят,
Упал у порога Бегела.
Горит, как солома, злодей,
Ревет и хрипит у порога . . .
От тела убийцы людей
Осталось лишь пепла немного.

И в пепле отравленном том
Червей обозначились кучи,
Шипят они ночью и днем
И в лес уползают дремучий.
А там, в благодатном лесу,
Вся в темненьком платье из ситца,
Фиалка, скрывая красу,
О братце любимом томится.
Ей хочется света, тепла,
Умыться ей хочется в росах,
Но черви, наследники зла,
Ее замечают с утесов.
И корни кидаются грызть,
И волосы ей обрывают. . .
Затем и короткая жизнь
У нашей фиалки бывает.
Но сумеркам утро грозит,
И день ратоборствует с тьмою,
И гор отдаленный гранит
Туманной повит пеленою. . .

РАНЕНЫЙ БАРС

(Рассказ)

Растаял снег на солнцепеке,
Ручьи, звеня, скатились вниз.
Напившись в соляном потоке,
К вершинам туры поднялись.
И шла за ними всеблагая
Адгилис-дэда, Мать Земли,
Поочередно окликая
Зверей, мелькающих вдали.
В горах, доселе неизвестных
И неприступных для врага,
Есть за стеною скал отвесных
Благословенные луга.
Там горный волк не страшен турам,
Там можно тихо отдохнуть,
Туда охотникам-хевсурам
Еще неведом долгий путь.
Внизу проносятся олени,
Мелькнут — и нету беглеца.
Но вот охотник в отдаленьи
Заметил самку и самца.
Эх, не сдала б теперь кремневка!
Да разве их возьмешь вдали!
Прицелясь, выстрелил неловко,
Запахло дымом от земли.
Как горный вихрь, умчались звери,
Заслышав выстрел. Но пришлец
Решил, что здесь по крайней мере
Он близок к цели наконец.

Он трижды, потом истекая,
Пересекал оленям путь,
Но те неслись, не подпуская,
И успевали ускользнуть.
Конечно, если б он в теснины
Загнал хотя бы одного —
Шашлык отличный из дичины
Шипел на вертеле его.

В тот день гонялся он немало
По горным тропам вверх и вниз.
Бушуя, сердце в нем пылало,
Из уст проклятия рвались,
Но всё напрасно... И бандули
Уже с его спадают ног,
Цриапи набок соскользнули,
Впиваясь в тело сквозь чулок.
Увы, упущенному делу
Ругательствами не помочь!
И удивлен охотник смелый,
Что день прошел и скоро ночь.
А день и впразду вечереет,
Скользят лучи по граням скал,
И волчья стая, как стемнеет,
К нему нагрянет на привал,
И тьма, как будто в преисподней,
Расстелется во всем краю...
«Неужто вправду я сегодня
Зверушки малой не убью!
Услышь меня, Адгилис-дэда,
И руку так мою направь,
Чтобы за мной была победа
И превратился сон мой в явь.
Он мне приснился прошлой ночью,
Он предвещал удачу мне, —
Позволь увидеть мне воочью
Всё то, что видел я во сне».

Так Мать земли молил Тварели,
Покуда хлеба грыз кусок,
А сам за выступом ущелья
Следил, глаза уставив вбок.

Поросший свежим остролистом
И можжевельником густым,
Борщевиком покрыт пушистым,
Утес вздымался перед ним.
И купы сосен на вершине
Шумели, и у края скал
Родник, стекая посредине,
Охрипшим голосом журчал.
Откашливаясь всей гортанью,
Шумел над горной он стеной,
На окровавленные грани
Холодной брызгая волной.
И стон с вершины вдруг пронесся,
И сердце охватила жуть:
Могучий барс ревел с утеса,
На камне выгибая грудь.
Больную лапу простирая,
И желтолик и пестротел,
Он на Тварели, не моргая,
Глазами умными глядел.
И кровь из лапы поврежденной,
Стекая, падала в родник,
И зверь, как витязь побежденный,
Стонал, беспомощен и дик.
Как муж, застигнутый бедою,
Лежал в ногах он у врага,
Припав туманною горою
К холодным водам родника.

«Стреляй, охотник! Видишь зверя?
Пока не поздно, бей в него!» —
«Видать-то вижу, но теперь я
Не трону брата моего.
Он, как и я, живет охотой,
И, подогнув конец полы,
Обходит доли и высоты,
Роняя камни со скалы».

Теперь и зверь признал Тварели,
И, словно к брату своему,
Приковылял он еле-еле
И лапу протянул ему.

И осмотрел охотник коготь,
И увидал кровоподтек,
И, засучив рукав по локоть,
Занозу длинную извлек.
То был прямой, продолговатый
Осколок острого кремня.
Подмытый ливнями когда-то,
Упал с вершины он, звеня.
Когда на небе звезды меркнут
И месяц катится, сверкнув,
Заночевавший в скалах беркут
Точил об этот камень клюв.
Но барс метнулся по откосу,
Завидев туров пред собой,
И впопыхах вогнал занозу
Под коготь мужественный свой.
Теперь, чтобы очистить рану,
Тварели вынул свой кинжал
И лапу барсу-великану
Куском холста перевязал.
И зверь, махая полосатым
Хвостом, помчался и исчез, —
Так исчезать дано пернатым
В высоком куполе небес.

Поправив сбитые бандули,
Дивится зверю человек:
Чтоб хищник сам бежал под пули —
Такого не было вовек.
И вдруг раздался треск растений,
И слышен стал издалека
Бег перепуганных оленей,
Спасающихся от врага.
Впиваясь в заросли глазами,
Тварели смотрит, недвижим:
Крутя огромными рогами,
Олень несется перед ним.
И грянул выстрел из ущелья,
И после долгих неудач
Скатился под ноги Тварели
Пробитый пулею рогач.
И, как победный клич звериный,

Вверху пронесся громкий вой,
И барс, мелькнув на миг единый,
Обратно кинулся стрелой.
Прошло мгновенье — на хевсура
Струя посыпалась земли,
И увидал охотник тура,
Стремглав бегущего вдали.
Застигнут пулей роковою,
Свалился зверь к подножью скал.
И снова, воя над скалою,
Барс удивительный стоял!
Стоял и лапою могучей
По-человечьи бил он в грудь. . .
Что говорить! Не просто случай
Погнал зверей на этот путь.
И вырвалось из уст Тварели:
«Благослови тебя, творец!»
А небеса уж потемнели,
И барс умчался наконец,
Одна лиса во мраке брешет,
Судьбу несчастную кляня. . .

Мой друг! Рассказ старинный этот
Прими в подарок от меня.

1890

ЭТЕРИ

I

Какие утесы кругом!
Какие безлюдные доли!
В глухом бездорожье таком
Не строят жилья новоселы.
Однако под сенью ветвей
Здесь хижина скрыта лесная.
Чинара склонилась над ней,
Ветвями ее осеняя.
Орешник и дикий копер
Хранят ее в чаще растений,
Но дальше, в окрестностях гор,
Людских незаметно селений.
Безмолвна древесная сень,
Лишь поздней порой урожая
Ревет там огромный олень,
Собратьям своим угрожая;
Да рвется с вершины обвал,
Да серна, спеша к водопою,
По выступам прыгает скал,
Да дятел колдует весною,
Да бьет в колокольчик фазан,
Наполнив окрестности звоном,
Да с песнею ветер-смутьян
Летит по долинам зеленым.

Привольный глухой уголок!
Одни только дикие звери

Здесь бродят и, словно цветок,
Растет сиротинка Этери.
Укрывшись в лесное жильё,
Цветет она, миром забыта.
Простая лачужка ее
Листами растений покрыта.
На низенькой кровле цветы
Лиловые, желты, синеваты.
Поет соловей с высоты,
Вдыхая цветов ароматы.
Поет он о милой своей,
Крылами во мраке колыхет.
Как ночью поет соловей,
Этери печальная слышит.
«Ах, птичка, — бормочет она, —
Ах, милая пташка, откуда
Тебе эта песня дана?
Она — настоящее чудо!
О, если б мне только узнать,
О чем твои дивные речи!
О, если б мне птицею стать,
Заботы забыв человечьи!
О, если бы, лесней звеня,
Умчаться мне к жизни свободной!
Заела старуха меня,
Что делать с змеей подколодной!»

II

Чуть глянет рассвет из окна
На сонные очи Этери,
Старуха, как уголь черна,
Кричит и бранится у двери.

М а ч е х а

Давно на дворе рассвело,
Скучает по овцам лужайка.
Ты долго ли будешь назло
Валяться в кровати, лентяйка?
Кой черт у тебя на уме?
Прости меня, господи боже!

Подохнет корова к зиме
И овцы от голода тоже.
Стара я, старуха, стара,
Болят и не гнутся коленки.
О чем ты с утра до утра
Мечтаешь, уставивши зенки?
Коль слушать не хочешь добром,
Возьмусь я за палку, чертовка!
Вставай, разрази тебя гром!
За чем у тебя остановка?

Этери

Эх, трудно на свете одной!
Не помню с младенчества мать я.
С утра над моей головой
Старухины эти проклятья.
Приснилась бы матушка мне,
Она приласкала б сиротку.
Хоть раз бы увидеть во сне
Улыбку ее и походку!
И день я и ночь на ногах,
Томлюсь от ненастья и стужи.
И холод, и звери, и страх,
И брань, и побои к тому же.
Каких еще надобно бед
В моем положеньи убогом,
Когда с появленья на свет
Забыта я господом богом!

Этери с соломы встает,
На сердце привычное горе.
Но, господи! — весь небосвод
В ее отражается взоре.
Как взглянет, с огромных ресниц
Волшебное льется сиянье,
Минута — и склонится ниц
Пред нею любое созданье.
Степного джейрана стройней,
Идет она к двери несмело.
Косынка на шее у ней,
Овчиной закутано тело.

Ни пуговиц нету, ни бус
На этой убогой овчине, —
Лишь хлеба вчерашнего кус
Лежит у пастушки в корзине.

За стадом овечек и коз
Этери бредет по поляне,
Двойными жгутами волос
Свой стан опоясав заране.
Пастушке моей недосуг
В лесу красоваться с косою:
Беда, коль заденет за сук
Или обернется змеею!
А косы — как гйшер они!
Такие ты встретишь едва ли!
Не лучше ль, чтоб целые дни
Ей тело они обвивали?
И дева бредет не спеша,
И вяжет чулок поневоле. . .
О, как ты собой хороша,
Пастушка, ушедшая в поле!

III

Спасаясь в полуденный жар
В лесу, где река протекала,
Этери под сенью чинар
В глубоком раздумье стояла.
Вдруг слышит: в густом лозняке
Залаяла гончая свора,
Рожок затрубил вдалеке,
Послышались крики, и скоро
Мелькнул на опушке олень,
Предсмертным охвачен томленьем,
И юноша светлый, как день,
Промчался верхом за оленем.
Метнулась из лука стрела,
Олень повалился убитый. . .
Пастушка моя замерла,
Кустарником тощим укрыта.

Но быстрый охотника взор
Уже заметил находку.
Глаза незнакомец протер
И снова взглянул на красотку.
И в самом разгаре забав
Вдруг сердце его закипело,
Как будто, поднявшись из трав,
Огонь охватил его тело.
Сгорела она от стыда,
Ресницы пред ним опуская...
И прыгнул с коня он тогда,
И к ней подошел, восклицая.

Г о д е р з и

Пастушка моя, не дрожи!
Одна среди белого света,
Зачем ты тут бродишь, скажи,
В лохмотья и шкуры одета?

Отнялся у бедной язык,
Стоит перед ним, и ни слова.
Охотник нахмурился вмиг,
Коснувшись меча золотого.

Г о д е р з и

Скажи, кто отец твой, кто мать,
Не скажешь — отведаешь стали.

Э т е р и

Решил ты меня напугать?
Похвалят невежу едва ли!
Не слишком великая честь
На женщин с мечом ополчиться.
И чем я, несчастная, здесь
Могла пред тобой провиниться?

Г о д е р з и

Откройся мне, милая, ты,
Наверно, живешь недалече.
Усталому слаще воды
Твои благодатные речи.

Этери

О чем мне тебе рассказать?
Забыла родное я племя.
Отец мой и милая мать
Погибли в военное время.
Я с мачехой скрылась в лесу,
Живу сиротинкою жалкой,
Овец и корову пасу,
Блуждая с пастушеской палкой.

Годерзи

Зачем же глядишь как зверек?
Зачем отвернулась? Ужели
Плохое я вымолвить мог,
Обидев пастушку без цели?
Знать, тем ты, красотка, горда,
Что ликом ты сходна с луною.
Однако кой в чем без труда
Могу я сравниться с тобою.
Не пыль я, не жалкий отброс,
К тому же, господь мне свидетель,
Не враг я тебе, и всерьез
Мила мне твоя добродетель.
Открой же, красотка, уста,
Скажи свое имя, девица!
Быть может, его красота
С твоей красотой сравнится.

Этери

Что́ имя мое для людей?
Зовусь я с рожденья Этери.
У мачехи старой моей
Я редко бываю в доверьи.
Лишь ругань одну да пинки
Доселе я в жизни видала.
Желаньям твоим вопреки,
Красы в моем имени мало.

Годерзи

Какая бездушная дрянь
Заставила девушку эту,
Как будто бездомную лань,
Скитаться по белому свету?

Поверь мне: с прекрасной луной
Ты схожа, моя дорогая.
Так будь же мне милой женой,
Царевною нашего края.
Я — здешний царевич, я — сын,
Я — славный наследник Гургена.
Тебя я из этих долин
С собою возьму непременно.
Мой конь вороной, как стрела,
Умчит нас в столицу обоих,
Чтоб счастье свое ты нашла,
Блаженствуя в царских покоях.
О, как ты собой хороша,
Этери моя дорогая!
Молиться б тебе, не дыша,
Следы твоих ног лобызая!

Этери

Уж где мне блистать красотой!
Нет времени, витязь, на это.
Босая брожу день-деньской,
В простую овчину одета.
И каждый отмечен мой шаг
Суровой рукой providенья...

Годерзи

О, дай же мне, милая, знак,
Что ты не отвергнешь моления.
Ужели насмешкою ты
Ответишь на пламень сердечный?
Как жаль мне твоей красоты,
Цветок чистоты безупречной!

Этери

Не то что женой твоей быть —
Я ног твоих вымыть не смею.
Как можно о том говорить,
Я толком понять не умею.
В одежде из шкуры овец
Тебе я, царевич, не пара:
Рассердятся мать и отец,
Глядишь — и обрушится кара.

К тому же иной есть запрет:
Молясь пред небесной царицей,
Дала я когда-то обет
Остаться навеки девицей,
Бродить по долинам вокруг,
Пасти это бедное стадо...
Мне ветер — единственный друг,
Цветы полевые — отрада.
Вдали от людского жилья
Я выросла, словно растенье;
Как скалы окрестные, я
Не знаю, что значит ученье.
Чем легким житьем соблазнять,
Величьем и домом богатым,
Позволь мне тебя называть
Судьбою ниспосланным братом.

Взгрустнулось пастушке моей,
Наполнились очи слезами,
И хлынул на землю ручей,
И поле покрылось цветами.
Здесь каждый цветочек с тех пор
Зовется Этери влюбленной.
Блажен ты, цветущий простор,
Слезами любви окропленный!

Г о д е р з и

Не плачь, не печалься, мой друг,
Не сетуй в кручине напрасной.
Коль я для тебя не супруг,
Покину тебя я, несчастный.
Куда ж я, однако, пойду?
Всё это пустая затея!
Покоя, увы, не найду
Без милой пастушки нигде я.
Величием царским одет,
Ужель ничего я не стою?
Ты дешево ценишь, мой свет,
Того, кто стоит пред тобою.
Царям сам господь повелел
Хранить драгоценностей груды,

Свершаются тысячи дел
По нашему слову повсюду.
Мы властны над жизнью людей,
Мы только пред богом в ответе,
Поистине, выше царей
Людей не бывает на свете.
Царевич я, гордость отца,
В руках моих дивная сила,
И вдруг, как простого юнца,
Пастушка меня покорила!
Ведь пламень ты мой не зальешь
Водою с упорством девичьим.
Ну, чем я тебе не хорош?
Ужели не вышел обличьем?

Э т е р и

О нет, ты прекрасен, мой брат,
Как солнце над нашей горою!
И в целой вселенной навряд
Кто может сравниться с тобою!
Но я ведь тебе надоем,
Заменит пастушку другая.
Ты клятвы, знакомые всем,
Забудешь, меня отвергая.
Я сердцем и духом чиста,
Мне будет претить беззаконье.
Я, верь мне, царевич, не та,
Чье место с тобою на троне.

Г о д е р з и

О нет, никогда, никогда
Тебя я не брошу, Этери!
Зачем ты настолько тверда
В своем безграничном неверьи?
Я богом, Этери, клянусь,
Гроша твои страхи не стоят.
Коль я от тебя отрекусь,
Пускай меня в землю зарюют!
Земля да возьмет меня вмиг,
Когда, поддаваясь обману,
Я твой обожаемый лик
Всем сердцем любить перестану!

Пускай не допустит творец
Меня, недостойного, к трону,
Коль я, как бессовестный лжец,
Другую красавицу трону!
Поверь мне, Этери, прошу:
Любовь — не пустая затея.
Я шапку недаром ношу,
Мечом с малолетства владея.
Тебе я обет мой даю
По царской, по собственной воле.
Ответь же на просьбу мою,
Подругою будь на престоле!

Этери склоняется ниц,
Не выдержать девушке спора!
И черные копыя ресниц
Очей заслоняют озера.
И снова бегут жемчуга
Навстречу лесным незабудкам...
Как видно, борьба нелегка,
Коль сердце не ладит с рассудком!

IV

Доносится издали зов,
Рога затрубили в округе.
В трущобах соседних лесов
Хватились царевича слуги.
Царевич ответ подает,
И, стрелы засунув в колчаны,
Выходит из лесу народ,
Толпой заливая поляны.
Звериный на каждом башлык,
Плащи сероваты и буры,
И сам спасалар среди них
В одежде из тигровой шкуры.
Завидев Этери, они
Бормочут, полны удивленья:
«Знать, ангелам божьим сродни
Небесное это виденье!» —
«Ликуйте, — царевич сказал, —

Нас бог не обидел добычей:
Невесту я здесь отыскал,
Пленен красотой девичьей.
Седлайте скорее коней
И будьте заботливой стражей
Невесте любимой моей,
Царевне возлюбленной вашей!»
И пали пред нею рабы,
В пыли преклонили колена,
И жарко молились, дабы
Хранил ее бог неизменно.
Один только Шере молчал,
Советник и визирь угрюмый,
И взоры на деву метал,
Любовной охваченный думой.
Едва он завидел ее,
Как дьявол искусной рукою
Вонзил в его сердце копье
И страстью зажег роковую.
Отнялся у Шере язык,
Дрожа, обессилело тело,
И зависть к царевичу вмиг
Душою его овладела.
Он мечется взад и вперед,
Стоять он не может на месте,
И в сердце своем, сумасброд,
Мечтает о юной невесте. . .

Но вот, погрузив на коней
Косуль, куропаток, оленей,
Царевич с добычей своей
Долиною едет вечерней.
Трехдневный спеша переход
Закончить еще до восхода,
Царевич, ликуя, поет
Со всею толпою народа.
Ущелия, мрачны на вид,
Ему в стороне подпевают. . .
Одна лишь Этери молчит,
Одна лишь невеста рыдает.
Рыдает, припомнив ягнят,
Оставленных там, на опушке,

И страшно ей, что закогтят
Стервятники их без пастушки.
А небо мерцает огнем,
И в сумраке поле ночное,
И ночь, распростершись кругом,
Застыла в безмолвном покое.
Застегнут небесный кафтан
Застежкой из перламутра,
И долго скрывает туман
Сияние свежего утра.

v

Светает. Вершины холмов
Стоят, озаренные снова,
И ворон спуститься готов
В долину на запах съестного.
Друг друга зовет воронье,
Парит над землею кругами.
Этери, всё стадо твоё
Зарезано нынче волками!
Стряслась над старухой беда,
Всё поле завалено мясом,
И коршун, слетая туда,
Теряет от радости разум.
Большие крыла опустив,
Стервятник шипит на соседа;
На них озирается гриф,
Кромсая остатки обеда.
А по полю взад и вперед
Старуха безумная скачет,
Старуха Этери клянет,
Считает овечек и плачет.
Платок с головы сорвала,
По горным вскарабкалась кручам
И долго пастушку звала,
Склоняясь над лесом дремучим.
Но лес как убитый молчал,
И долго над снегом обвала
Лишь эхо безжизненных скал
Старушечий вопль повторяло.

Стоял на морском берегу
 Дворец неприступный Гургена,
 И башни на зависть врагу
 Его окружали надменно.
 Соваться сюда супостат
 Боялся. За крепкой стеною
 Устроен был редкостный сад,
 Пленяющий сердце весною.
 Фиалка и нежный нарцисс
 Там дивной четою пестрели,
 И роза цвела, и лились
 Над ней соловьиные трели.
 Однако невесел Гурген,
 И птиц он не слушает боле,
 И мрачно он ходит у стен,
 Веселье забыв поневоле.
 Чуть свет спасалар во дворец
 Сегодня явился без зова,
 И, принят царем наконец,
 Такое он вымолвил слово.

С п а с а л а р

О царь, не сердись на меня
 За то, что пришел я незванным.
 Обязан обрадовать я
 Известьем тебя долгожданным.
 Твой сын себе выбрал жену,
 Какой не отыщешь на свете.
 Похожа она на луну,
 Пошли ей господь долголетье!
 Нам лица красавиц таких
 В одних сновидениях снятся.
 И ты не сердись, что жених
 Решил без тебя обвенчаться.
 Красавицы этой приход
 Послужит нам счастья залогом,
 Ведь судьбы людей наперед
 Начертаны господом богом.

Как саван, Гурген побелел,
 Услышав такое известье.

Ц а р ь

Ужели безумец посмел
Нарушить условия чести?
Но кто она родом? Княжна?
Иль царского дома девица?

С п а с а л а р

О царь, мы не знаем. Она
Молчит и придворных дичится.
Твой сын ее встретил в глуши,
Вблизи от овечьего стада,
И в ней он не чает души,
Влюбленный с единого взгляда.

Ц а р ь

Лев, больше ни слова! К чему
Болтать, не внимая рассудку!
Ты сыну скажи моему,
Что я оскорблен не на шутку.
Кто — царь я ему? Или он
Со мною не хочет считаться?
Как смел он, нарушив закон,
Над волей моей надругаться?
Царю он Левану в зятя
Отцом предназначен с рожденья.
Я клялся, и клятва моя
Известна ему без сомненья.
Нарушив ее, словно лжец,
Навек я поссорюсь с соседом.
Неужто влюбленный глупец
Не мог поразмыслить об этом?
Ослушника я не стерплю,
Пусть знает об этом негодный!
Не дам опозорить семью,
Мой царственный дом благородный!
И где только этот пострел
Сумел своеволья набраться?
Скажи ему, чтобы не смел
Ко мне на глаза появляться.
Я знать ни о чем не хочу!
Коль мало острастки злодею,

Мечом я его научу,
Как с волей считаться моею.

И царь замолчал, оскорблен...
Узнав о его несогласьи,
Был лев-спасалар принужден
Вернуться ни с чем восвояси.

VII

Царевич, отвергнут царем,
Но всей уважаем страную,
Построил в окрестностях дом
И в нем поселился с женою.
Утратив права на престол,
Он был равнодушен к потере
И счастье, казалось, нашел
В супружестве с милой Этери.
И весь царедворческий мир
К нему повернулся спиною.
Вельможи, собравшись на пир,
Корили его меж собою.
Одна лишь царица пришла
В их домик простой и смиренный,
И сыну она принесла
В подарок кинжал драгоценный.
И золотом шитый наряд
Невестке она подарила, —
Рубины, нанизаны в ряд,
Горели на нем, как светила.

М а т ь

Не в силах я больше ворчать,
Сынок мой, как раньше ворчала.
Недаром я, старая мать,
Тебя в колыбели качала.
Будь счастлив с супругой вполне,
Коль сделался ты семьянином,
И слово, что дал ты жене,
Держи по заветам старинным.
Не будь легкомыслен, сынок,
Чтоб сердце жены не болело.

Плевать на домашний порог —
Не слишком почетное дело.
Не худо бы было спросить
Родителей старых заране,
Чтоб легче нам было избыть
Постигшее нас испытанье.
Пустого не скажет отец,
А ты своим выбором странным
Нежданно поссорил вконец
Гургена с могучим Леваном.
Ты в луже нас всех потопил,
Заставил плевком подавиться. .
Откуда набраться нам сил,
Чтоб снова с тобой помириться?

Г о д е р з и

Нет, мать, не топил я людей,
Любовною клятвою связан;
И ради любви моей
Никто пострадать не обязан.
Я сердцу лишь долю его
Законную отдал и этим
Заставил отца моего
Нанести оскорбленье соседям.
Неужто такая беда —
Жениться по собственной воле
И счастье увидеть, когда
Противится царь на престоле?
Ребенка вы вправе родить,
Но, ставший наследником края,
Могу я по-своему жить,
Сыновние чувства питаю.
Зачем же отец осерчал?
Зачем он прогнал спасалара?
Не я ли вам первый сказал,
Что царская дочь мне не пара?
Я знаю царевну давно, —
Из крепости древней Левана
Она на охоте в окно
Смотрела на нас постоянно.
Господь мне свидетель, что я
Ни в чем не виновен, царица!

И если Леван, как судья,
Посмеет на нас ополчиться, —
Нас тоже мужами зовут,
И мы, окруженные войском,
С мечами предстанем на суд,
Поспорив в сраженьи геройском.
Крепка наша родина-мать,
Не дрогнут ворота из стали,
И будем мы их охранять,
Как в прежние дни охраняли.

VIII

Совсем удалившись от дел
В своем самовластьи державном,
Гурген одинокий скорбел
О сыне своем своенравном.
Два месяца он горевал,
Почти не вставая с постели,
И слуги, входившие в зал,
К нему приближаться не смели.
Однажды в глубокую ночь
Не мог он заснуть до рассвета
И, чтобы несчастью помочь,
Вельмож пригласил для совета.

Ц а р ь

Всем ведомо, визири, вам,
Что нынче случилось со мною.
Не в том мое горе, что нам
Леван угрожает войною.
Нет, сын, мой единственный сын,
Женившись на девке негодной,
Моих не жалея седин,
Унизил мой дом благородный.
И как только носит земля
Доселе такого бахвала!
Как небо на наши поля
С высот до сих пор не упало!
Неужто велит нам судьба
В своем убедиться бессильи,

Чтоб сын мой и эта раба
Под кровлей единою жили?
Вы, лучшие люди страны,
Со мною подумайте вместе,
Как мужа отнять от жены
И смыть роковое бесчестье.
Мы сделать обязаны так,
Чтоб всё изменилось отныне
И пламень любовный иссяк
В моем очарованном сыне.
Подумайте, мысль какова!
Она меня жжет ежечасно.

В и з и р и

Поистине эти слова
Сказал ты, владыка, прекрасно.
Но столь изменить существо
Живого любовного чувства
Способно одно колдовство,
Здесь мало простого искусства.
Не медли же, царь, и зови
Скорей колдунов из ущелья, —
Быть может, они от любви
Найдут подходящее зелье.

Увидев, какой оборот
Событья вокруг принимают,
Средь визирей Шере встает
И смелую речь начинает.

Ш е р е

О царь, я беру на себя
Всё это опасное дело.
Мишень подходящую я
Всегда поражаю умело.
Но, видишь ли, слаб я душой,
Чужой не люблю я печали,
Я против того, чтоб порой
Невинные люди страдали.
Безродной девчонки вина,
Конечно, не столь уж огромна:

Росла в захолустье она,
Как зверь одинокий, бездомна.
Ей, может, самой невдомек,
Каких она бед натворила,
И кровь ее будет не впрок
Тому, кто светлее светила.
Я это к тому говорю,
Что взял бы ее на поруки.

Ц а р ь

Отлично, мой Шере! Дарю
Девчонку тебе за услуги.
Как только исполнишь приказ
И всё обернется как надо, —
Бери, убирай ее с глаз,
Она — небольшая награда.

Вельможи, склоняясь пред царем,
Толпою направились к двери.
И с ними, пылая челом,
Ушел торжествующий Шере.
Надели щиты и мечи,
Лежавшие в зале соседней,
И скрылись в безмолвной ночи,
И Шере за ними — последний.

ІХ

За тридевять гор и морей,
А где — не поймет и нечистый,
Неслыханный жил чародей,
Скрываясь в пещере скалистой.
Он с каджами был заодно,
Запродал он дьяволам душу,
И было злодею дано
И море тревожить и сушу.
В урочище дэвов — вожак,
В русалочьем царстве — владыка,
Творил он и бурю и мрак,
Чтоб путника сбить с панталыка.

Лишь стоит ему засвистеть
И топнуть о землю ногою,
Застонет небесная твердь
И грянет гроза над землею.
И нет, чтобы людям помочь,
Он только им гадит, паскуда,
И с виду, проклятый, точь-в-точь
Как христопродавец Иуда.
Торчат под усами клыки,
Огонь шевелится над рожей,
И кости его, широки,
Железной обтянуты кожей.
На ноги посмотришь — мужик,
А коготь на пальце собачий,
И весь почернел он, старик,
И гривой порос жеребьячей.
И если в народе кому
Вдруг выпадет счастье какое, —
Одна лишь забота ему:
Счастливицу напакостить вдвое.

Однажды сидел чародей
Один у подножья утеса,
И козни он плел на людей,
И в небо посматривал косо.
И вдруг над его головой,
Склоняясь над самой долиной,
С вершины горы верховой
Прокаркал, как ворон пустынный.

Ш е р е

Эй, старче, куда запропал?
Увидеться время припело.
К тебе, повелителю скал,
Имеется спешное дело.

К о л д у н

А, визирь Гургена-царя,
Любовью израненный Шере!
Ты каркаешь издали зря,
Спускайся скорее к пещере.

Давно тебя, братец, я жду,
Пронюхав о страсти бесплодной.
Не стой же у всех на виду,
Как волк завывая голодный.

Ш е р е
(спускаясь)

Привет тебе, мудрый старик,
Знаток колдовства и знахарства!
Коль в сердце мое ты проник,
Придумай от горя лекарство.
Коль ты возвратишь мне покой,
Бери мою душу в рабыни.
Ты видишь, что сам я не свой
Стою пред тобою в уныньи.
От страсти я весь изнемог,
Влюбленному ведь не до шуток!
Уходит земля из-под ног,
Слабеет от горя рассудок.
Хоть заживо в землю ложись,
Плитой покрывайся надгробной.
Ты веришь? За всю мою жизнь
Не знал я болезни подобной.

К о л д у н

Я знаю про горе твое.
Едва появилась Этери,
Как молния, взоры ее
Ударили в голову Шере.
Итак, за каким же, сынок,
Ко мне ты явился советом?
Скажи мне, как если б не мог
Я сам догадаться об этом.

Ш е р е

Ах, что мне ответить, старик?
Сгубила меня чаровница!
Сказал бы, да разве язык
Промолвить всю правду решится?
Согнуло несчастье в дугу,
Впились в мою голову свёрла.

На хлеб и смотреть не могу —
Кусок вылезает из горла.
Застлала глаза пелена,
Рука поднимается еле,
Душа, безнадежно больна,
Не держится, бедная, в теле.

К о л д у н

Ну, полно тебе причитать!
Ты впал от отчаянья в детство.
Чтоб эту красоту достать,
Имеется верное средство.
Коль горе свое побороть
Влюбленному визирю нечем,
Достану я проса щепоть,
Полью молоком человечьим.
Потом на крови разведу
И, чтобы лекарство окрепло,
От грешников, сгнивших в аду,
Прибавлю зловонного пепла.
Частицу своей черноты
Нам даст на приправу Иуда...
Лекарства подобного ты
Не видывал, Шере, покуда.
Возьми его, визирь, с собой
И около дома Этери
Под самым порогом зарой,
Когда она выйдет из двери.
Как действует средство мое,
Вы скоро заметите сами.
Прекрасное тело ее
Покроется мигом червями.
В глазах и в развалинах губ
Неслыханный гнус расплодится,
И скоро она в полугруп
На ваших глазах превратится.
И тщетно ее лекаря
Дежурить начнут у постели, —
Потрудятся, глупые, зря,
Червей же не выведут в теле.
Пускай насладится вполне
Царевич подругой красивой!

Ш е р е

А что же останется мне?
Один только остов червивый?

К о л д у н

Зачем чепуху городить?
Русалочьей мазью мгновенно
Ты сможешь ее исцелить,
Избавив от гнусного тлена.
Как только царевич-глупец
Жену позабудет в напасти
И будет она наконец
Твоей предназначена власти, —
Помажь ее мазью моей,
Заставь на рассвете умыться,
И к нашей красоте, ей-ей,
Былая краса возвратится.

Схватив драгоценный состав,
Мой Шере, исполнен тревоги,
Коня своего исхлестав,
Как вихрь полетел по дороге.
И били подковы скалу,
И ветер наигрывал в трубы,
И бесы, уставясь во мглу,
Свистели и скалили зубы.

Х

Сжимая дрожащей рукой
Свое драгоценное зелье,
По горной тропе верховой
Въезжает в ночное ущелье.
Он едет, а совесть не спит,
Стремясь уличить негодяя.
И плачет бедняга навзрыд,
Коня над рекой погоняя.
А в пропасти стелется дым,
Колеблется пламя во мраке,
И дэвы сидят перед ним,
Костры разложив в буераке.

Ликует, ревет чертовня
В разгаре бесовской пирушки.
Как камни, при свете огня
Чернеют большие макушки.
Здесь глотки пещерных владык
Подобны корчагам для пива.
Огромный, как шоти, язык
Ворочает снесь торопливо.
Прислужники, рой бесенят,
Прносятся с криком совиным
И полным ковшом норовят
Вина поднести исполинам.
Дымится в кувшинах вино —
Награда за смерть и увечья,
Струится во мраке оно —
Невинная кровь человечья.
И жрут ее духи земли,
Подобно косматым обжорам,
И, Шере завидев вдали,
Приветствуют визиря хором.

Д э в ы

Эй, Шере, несчастный мозгляк,
Куда тебя черти погнажи?
За нашей пирушкой всяк
Свои забывает печали.
Давай заворачивай к нам,
Коль дьяволу продал душонку!
Наделал ты дела, а сам
Торопишься, видно, в сторонку.

Ш е р е

Вы правы, за вами душа,
Уделом ей — адские муки.
Зачем же, напрасно спеша,
За трупом вы тянете руки?
Мне б только пожить на земле
Пять лет или сколько хотите,
А там кипятите в смоле
И в пламени адском варите.

Д э в ы

Добро! Торопись, молодец!
Пять лет — небольшая помеха.
Но помни: настанет конец —
Помрем над тобой мы от смеха!

И Шере пришпорил коня
И прынул во тьму, исчезая,
И долго за ним чертовня
Визжала вослед, как шальная.

XI

В чужом неприютном краю
Беды натерпевшись немало,
Вернуться в отчизну свою
Торопится путник усталый.
И вот он — родной небосклон!
Но что это? Строем старинным
Вздымая полотна знамен,
Отряды идут по долинам.
Рога боевые трубят,
Колышутся длинные стяги,
И кони, волнуясь, храпят,
И воины полны отваги.
На каждом мерцает, светясь,
Доспех, облегающий тело,
И черная кровь запеклась,
И грязь на телах затвердела.
У каждого щит на плече,
У каждого палица битвы,
На каждом тяжелом мече
Иссечено слово молитвы.
В стальной рукавице рука
Колеблет копьем многогранным.
Броня на груди нелегка
С нашитым на ней талисманом.
Гурген на коне вороном
Ведет боевую дружину,

И грохот и вопли кругом
Весь день сотрясают долину.
За ним в отдаленьи ведут
Великое множество пленных,
Спешит за верблюдом верблюд
Под грузом сокровищ бесценных.
А рядом, стальные мечи
Украшив людскими зубами,
Бегут, хохоча, палачи
И блещут на пленных глазами.
Столкнулись Гурген и Леван!
Бой грянул, и недруг Гургена,
Страдая от множества ран,
Едва был избавлен от плена.
И Шере, раздвинув кусты,
В испуге глядит на знакомых.
В сознании их правоты
Страшит его собственный промах.
И чоха намокла от слез,
И гложет тоска святотатца.
Хотел он пробраться в обоз
И с войском Гургена смешаться, —
Да поздно! Душа залилась
Прощальным отчаянным свистом,
И с правдой последняя связь
Нарушилась в сердце нечистом.
Как бешеный, Шере взглянул
На эти знакомые лица,
И войск торжествующий гул
Ударил в лицо нечестивца.
Отпрянул несчастный назад
И, втайне себя проклиная,
Помчался в кустах наугад,
Коня второпях погоняя.

ХII

Подействовал страшный состав!
Весь край поутру взволновался.
В любовную чашу упав,
Таинственный яд примешался.

Этери поблекла лицом,
Червями изъедено тело.
Нет силы ни ночью, ни днем, —
Где снимут, там вдвое насело.
В испуге царевич глядит,
Склоняясь у милого ложа,
Извелся, рыдая навзрыд,
Остались лишь кости да кожа.
Как только увидит жену,
В беспамятстве валится, бедный,
И только Этери одну
Зовет он в печали предсмертной.
О горе! За крепкой стеной
Скрывает он в башне Этери,
И слуги его день-деньской
Стоят сторожами у двери.

«Царевич, — Этери звала, —
Что толку во мне, зачумленной?
Уж лучше б я нищей была,
Чем жить мне царевной плененной!
Царевич мой, милый супруг,
Мое дорогое светило,
Прости меня, бедный мой друг,
Всю жизнь я тебе отравила!
Во всем я виновна сама,
Проклятая с детства судьбою!
Зачем я лишилась ума,
Когда повстречалась с тобою?
Не зря я твердила тебе,
Увидев тебя на опушке,
Что бросил ты вызов судьбе,
Приблизившись к бедной пастушке!
Напрасно мы, милый, сошлись!
Убить меня, глупую, мало
За то, что я нищую жизнь
На роскошь твою променяла.
Ты слишком для нищей хорош,
Супруг мой, царевич прекрасный!
И рано иль поздно, но всё ж
Я знала, что буду несчастной».

ХІІІ

Пошла во дворце кутерьма —
Уходит царевич в могилу!
Лишаясь от горя ума,
Пришла к нему мать через силу.
Звала, обнимала его,
Кружилась над ложем, как птица,
Но сына спасти своего,
Увы, не сумела царица.

«Ах, матушка, — сын говорил, —
Ты знаешь причину недуга.
Он силы мои подкосил,
Когда заболела супруга.
Уж близок последний мой день,
Последняя ночь роковая.
Зовет меня смертная сень,
Торопит плита гробовая.
Пока я в сознаньи, молю,
Последнее дай утешенье, —
Позволь мне Этери мою
Увидеть хотя на мгновенье.
Пускай разорвется душа,
Отнимутся ноги и руки, —
Хочу я смотреть, не дыша,
На милые очи супруги.
А если на горе мое
Она умерла безутешной,
Хоть пепел мне дайте ее,
Хоть локон волос ее нежный,
Хоть с белой руки ноготок,
Кусок подвенечной вуали,
Чтоб я лобызать его мог
В своей беспредельной печали».

И бросилась мать во дворец,
Упала, крича, на колена,
И, еле жива, наконец
Она умолила Гургена.
И Шере к престолу зовут,

И Шере, как вставший из гроба,
Является, страшен и лют,
И долго безмолвствуют оба.

И начал владыка: «Герой,
Ты воинов многих сильнее.
Я знаю, насколько тобой
В своей одолжен я затее.
Я — царь. Но ведь я и отец!
Томит мою душу тревога.
Недаром ношу я венец
И верую в господа бога.
Могу ли я сына убить?
Наследник он мой с малолетства!
Сумел ты отраву добыть —
Найди и целебное средство.
Коль девка опять оживет
И силу утратит знахарство,
Лекарствам иным предпочтет
Царевич такое лекарство».
Как будто обрушился гром
На голову визирия снова.
Но слышит он в сердце своем
Заклятия знахаря злого:
«Держись, не сдавайся, сынок,
Крепись, мой возлюбленный Шере.
Оставить мне душу в залог
Не ты ли поклялся в пещере?»
И Шере, блее, чем мел,
Вступить не посмел в пререканья...

Вдруг в окна дворца долетел
Томительный вопль причитанья.
И в черных одеждах народ
Бежит перед царским покоем,
И плачет, и волосы рвет,
И женщины мечутся с воем.

Ц а р ь

Мой Шере, взгляни за окно.
Кто там завывает во мраке?

Ш е р е

О царь, за окошком темно.
Пируют, как видно, гуляки.

Ц а р ь

Мой Шере, я слышу — кричат.
Пойди разузнай, бестолковый.

Но двери на петлях скрипят,
И визирь вбегает дворцовый.
Глашатай великих скорбей,
Посыпал он голову прахом
И, белого снега белей,
Сказал государю со страхом.

В и з и р ь д в о р а

Срази супостата господь
С такою же силой смертельной,
С какой он и душу и плоть
В сосуд превращает скудельный.
Скончался твой сын, государь!
Нет больше Этери прекрасной!
На войнах не видел я встарь
Кончины настолько ужасной!
Как только внесли лекаря
Этери в покои к больному,
Поднялся он, взором горя,
Смертельную чужа истому.
Супругу он обнял рукой,
Приник к окровавленным ранам,
И вдруг перед милой женой
На ложе упал бездыханным.
Мы «ах!» не успели сказать —
Этери взмахнула кинжалом...
Доселе его рукоять
Торчит под соском ее алым!

Покрыла царя темнота
При вести об этой кончине.
«О горе! Открылись врата
В страну мою бедную ныне!
Мой сын был опорой стране,

Он был нам светила дороже...
Зачем не оставил ты мне
Дитя мое, господи боже?»

XIV

И вот, улыбаясь вдали,
Опять засияло светило,
Но бедные очи земли
Смотрели туманно и хило.
Весь трауром город одет,
Унылые реют знамена.
Вельможи, встречая рассвет,
Рыдают у царского трона.
И медленный стелется дым,
Клубясь над костром поминальным,
И лев-спасалар, недвижим,
Стоит перед войском печальным.
Стоит, опираясь на меч,
Высокому предан престолу,
И пламя колеблется свеч,
И стяги повергнуты долу.
Не плачет над башней труба,
Не бьют на заре барабаны.
В глубоком молчаньи толпа
Идет, заливая поляны.
И в рощах умолк соловей,
Затихли веселые птицы
И смотрят из чащи ветвей,
Как толпы идут из столицы.
Свершая священный обряд,
Святитель выходит из двери,
И визири шествуют в ряд,
Не видно лишь визиря Шере.
Два гроба плывут над толпой —
Один деревянный, дощатый,
Другой, впереди, дорогой,
Повит пеленою богатой.
И падает наземь народ,
Услышав церковное пенье,
И слезы обильные льет,
И волосы рвет в исступленьи.

По воле усопшего, тут,
На светлом лесном косогоре,
Где птицы лесные поют,
Остались влюбленные вскоре.
В двух темных могилах легли
Поодаль они друг от друга,
Чтоб даже в объятьях земли
Не видела мужа супруга.
Но скоро чудесную весть
Услышали жители края:
Над бедной пастушкою здесь
Фиалка возникла лесная.
И рядом, на холме другом,
Открылась огромная роза.
Цветут они ночью и днем,
И в зной, и во время мороза.
И, вечно друг к другу стремясь,
Листы воедино сплетают,
И птицы, людей не боясь,
Над ними весь день распевают.
И бьет животворный ручей
Близ этих надгробий зеленых
И сладостной влагой своей
Целит безнадежно влюбленных.
Кто этой воды изопьет,
Тот сердцем не будет изранен, —
Будь он из богатых господ
Иль просто бедняга крестьянин.

ХV

А Шере, вы спросите, что ж —
Проклятый убийца Этери?
С утра и до вечера нож
Он точит сегодня у двери.
Зачем ему острый клинок?
Не смерти ли хочет несчастный?
О чем, средь людей одинок,
Хлопочет преступник опасный?
Давно уже, старый злодей,
С заплатанной нищей сумою

Он бродит вдали от людей
И дико трясет головою.
При царском дворе позабыт,
Отверг он вельможное званье,
И только угрюмо молчит,
Когда его гонят крестьяне.
В древесное лыко одет,
Больной, сумасшедший калека,
Бои́тся на старости лет
Смотреть он в лицо человека.
И вечно он рыщет в горах,
В лощинах, травую поросших.
То волком завоюет, и страх
Хватает за сердце прохожих;
То горным козлом закричит,
То диким завоюет шакалом,
То меч свой и ломаный щит
Таскает на ослике малом.
То снова, как злой нетопырь,
В дремучей трущобе ютится. . .
Однажды ушел в монастырь
С монахами богу молиться.
Да где там! Молитвы не впрок
Тому, кто отрекся от бога.
И снова как перст одинок,
Он точит клинок у порога.
Зачем же несчастному нож,
Молитвы к чему и стенанья?
Затем, что ему невтерпеж
На наше смотреть мирозданье.
Затем, что безумной рукой
Сегодня он выколлет очи,
Затем, что смертельный покой
Он видит в безмолвии ночи.

БАХТРИОНИ

1

Уж день оделся покрывалом,
Закрылись очи темных гор.
Покойно витязям усталым
Дремать в могилах с давних пор.
Бушует вихрь. . . Над перевалом
Рыдает туч надгробный хор.

Им нет забвенья, нет покоя. . .
Как струи алазанских вод,
Текут их слезы над землею
И моют выступы высот.
Внизу ущелие ночное,
Наполнясь водами, ревет.

Но вот прошли, пропали тучи
И травы ожили кругом,
И вздулась грудь горы могучей,
Наполненная молоком.

О горы! Здесь, в краю скалистом,
Несу я поздний вам привет!
Пусть будет вашим остролистом
Мой холм кладбищенский одет.
Моя душа повсюду с вами,
Я сам питомец этих скал,
Недаром жадными устами
К сосцам я вашим припадал.

И пусть пиримзе, горный цветик,
Фиалка нежная моя,
Не сетуют, что в скалах этих
Питаюсь вместе с ними я.
Я счастлив, грешный, насладиться
Чудесной влагой вновь и вновь.
Да будут в пользу вам, сестрицы,
И щедрость ваша и любовь!

II

Покрыта ясенем и дубом,
Гора взметнулась, как копьё.
Большие башни телом грубым
Венчают выступы ее.
Повсюду тленье и разруха,
Разбитых стен печален вид,
И ни души... Одна старуха,
Рыдая, в крепости стоит.
Вокруг нее в немом покое
Ряды виднеются гробниц.
Припав к надгробию героя,
Готов и я склониться ниц.
Так вот она — молешня пшавов!
Сегодня праздник здешних мест.
Но отчего мертво в дубравах
И так безлюдно всё окрест?
Ужель святитель наш Георгий,
Столь почитаемый страной,
Теперь забыт? Иль, раньше зоркий,
Взор притупился нынче мой?
Зачем старуха близ святыни?
Ужель не ведает она,
Что будет всем селом отныне
Она за то осуждена?
Она одна, затеплив свечи
И посетив священный кров,
Над тушей плакала овечьей,
На камне жертву заколов!
Она одна не позабыла
Свое восславить божество,

Одна слезами окропила
Порог разрушенный его!
Здесь зов не слышен хевисбери,
Здесь не шумит народный пир.
Кто скажет, что у этой двери
Справляет праздник нынче мир?
Свечу к надгробию пристроив,
Старуха стонет перед ней.
Здесь грудь, вскормившую героев,
Грызет сегодня лютый змей!

III

И вдруг раздался на дороге
Неторопливый шум шагов,
И путник, жалкий и убогий,
Остановился средь дубов.
Густой заросший бородою,
Ружье с плеча он тихо снял
И, опершись на ствол рукою,
В раздумье тягостном стоял.
Был меч его подвязан лыком,
Ножны разбиты с давних пор,
И сам он был, суровый ликом,
Похож на пшава этих гор.
Услышав, как вопит старуха,
Смахнул слезинку он с лица,
Но женщина рыдала глухо,
Не замечая пришлеца.
Как будто спрашивая камни,
Она твердила в тишине:
«Неужто счастья никогда мне
Не видеть в этой стороне?
Слезами горькими доколе
Поить нам горы и поля?
Неужто кровью нашей боле
Не насыщается земля?
Доколе будут здесь злодеи
Терзать измученных людей
И вместо деток злые змеи
В сосцы впиваться матерей?»

Неужто люди не устали
Сгибаться под пятой врагов?
Увы, мужчины в битве пали,
И нет защитников у вдов!»

Старуха плакала уныло,
Не замечая никого,
И понял пшав, что посетило
Несчастье бедный край его.

П у т н и к

Послушай, мать! Ты кто такая?
Что за беда у вас стряслась?

Старуха встала и, вздыхая,
С трудом на палку оперлась.

С а н а т а

Как? Ты живой? Ты не калека?
Не сон ли это, боже мой!
Ужель живого человека
Опять я вижу пред собой?
Да будет милость властелина
С тобою, милое дитя!
О том, что хоть один мужчина
Остался жив, не знала я.

П у т н и к

Пусть и тебя рука господня
Хранит, и всех твоих детей.
Но я тебя спрошу сегодня,
Как сын у матери своей:
Кто женщине присвоил право
Справлять в обители Креста
Мужской обряд? Зачем у пшава
Святая храмина пуста?
Зачем, несчастный, я не вижу
Толпы, собравшейся вокруг,
Людского гомона не слышу,
Мечей бряцанья и кольчуг?
Пришел конец, как видно, свету,
Пора, как видно, умирать,

Коль позабыл святыню эту
Родной народ. Но кто ты, мать?

С а н а т а

Эх, дитяtko, я — горемыка,
Вдова без крова и семьи.
Все, все от мала до велика
Погибли родичи мои.
Когда напали басурмане
На наше мирное село,
Всё воинство на поле брани
У нас, хошарцев, полегло.
Смотри, в бесчисленных могилах
Стоит Хошарская гора!
Здесь о мужьях и детях милых
С утра мы плачем до утра.
На матерей несчастных глядя,
Ребята малые ревут.
Не в силах, сын мой, описать я
Всего, что делается тут.
К чему несчастным женам дети?
Мы только мучаем себя!
Сегодня краше всех на свете
Твой сын и радует тебя,
А завтра жизнь его навеки
Умчит безжалостный поток. . .
Увидеть в образе калеки
Свое дитя — не дай нам бог!

Зовут меня, сынок, Саната,
Беридзе был мой бедный муж.
Жила в Апхушо я когда-то,
Детей имела семь я душ.
Семь славных молодцев взрастила,
Был каждый строен, как олень,
И вместе с мужем их могила
Взяла в один и тот же день!
Я две недели, чуть живая,
Ее копала сыновьям. . .
Теперь лишь ветер, завывая,
И день и ночь рыдает там.

Кому ж теперь служить святыне,
Коль нет мужчин во всем краю?
Кто будет ладан жечь отныне
И жертву приносить свою?
Где нет мужчин, пристало женам
Молиться господу за всех.
Святыня нам, обремененным,
Простит невольный этот грех.
А сам-то ты, сынок, откуда,
Из этих мест или чужой?
Как приключилось это чудо,
Что ты предстал передо мной?

П у т н и к

Эх, матушка, и я, несчастный,
Видал немало разных бед.
Вдали от родины прекрасной
Я прожил целых двадцать лет.
Селенья мне знакомы эти,
Матура — родина моя.
Мне имя — Квирия. На свете
Немало пней таких, как я.
Остался в детстве я без крова,
Пошел искать свою судьбу,
И всё, что в мире есть плохого,
Я вынес на своем горбу.
Уж где я только не валялся,
Голодный, жалкий и босой,
Когда в Тушетии скитался,
Вдали от Пшавии родной!
Еще не старый я годами,
Но пожилым кажусь на взгляд,
Недаром, видно, за стадами
Бродил я двадцать лет подряд!
По целым дням не ел я хлеба,
Не знал ни отдыха, ни сна,
И лишь одна мне гостьей с неба
Светила пшавская луна.
Когда с холмов родного края
Летела стая журавлей,
У них я спрашивал, рыдая,
О милой родине моей.

Но заменить письмо не в силах
Слова, упавшие на снег,
А в птичьих возгласах унылых
Что может смыслить человек?

С а н а т а

Дивлюсь я, сын мой, что неожиданно
Вернулся ты в свою страну.

П у т н и к

Эх, матушка, у басурмана
Живется хуже, чем в плену!
Житья не стало от неверных,
Во всей Кахетии разгром.
Народ в мученьях там безмерных
Ослабевает с каждым днем.
Враги на женщин нападают,
Насильничают, как скоты,
Кошницей полной собирают
Дары девичьей красоты.
Садов совсем почти не стало,
И вся Кахетия на вид,
Как женщина без покрывала,
Перед насильником стоит.
И мстителей не видно боле,
Чтоб поделом врагу воздать,
Нет человека сильной воли
Народным войском управлять.
Уж враг доходит до предгорий,
Повсюду налагая дань,
Он все стада угонит вскоре
С родимых гор за Алазань.
Как ни молил бы, как ни плакал,
Уж нам не жить в родном краю:
Убьют безжалостно и на кол
Посадят голову твою.
И встали, матушка, тушины,
Не выдержав таких невзгод.
Могучий Зезва их дружины
На бой великий поведет.
В доспехах нынче все мужчины,
В кольчугах нынче весь народ.

В Пшав-Хевсуретию послали
Меня гонцом тушинским, мать,
Вам, славным братьям, обязали
Слова такие передать:
«Вы — наши родичи по крови,
Страдать нам более невмочь,
Мы просим — будьте наготове,
Чтоб нам в сражении помочь.
Известно вам, что без равнины
Не может долго жить гора.
Итак, сомкнемся воедино
Во имя общего добра!
Смотрите, что у нас творится:
Муллы поют у алтарей,
А безутешные вдовицы
Несут на кладбище детей!»
Я знал, что на горе Хошари
Сегодня праздник годовой;
Я думал, будет пир в разгаре,
Народ сойдется здесь толпой;
Я верил, огорчатся пшавы,
Услышав горестную весть...
Достойны, мать, великой славы
Все те, кто пал и там и здесь!
И мы идем за ними следом, —
Сегодня живы мы, а там,
Навек простившись с белым светом,
К подземным спустимся вратам.
Но жив покуда пламень в теле,
Покуда недруг не разбит,
Нам, обездоленным доселе,
За жизнь бороться надлежит.
Все те, кто носит шапку мужа,
Отмстят за родину свою!
Бесславной жизни я к тому же
Предпочитаю смерть в бою.
Когда мой дом, детей, супругу
Захватит полчище врагов,
Поднять я собственную руку
На самого себя готов.
Итак, прошу тебя, не сетуй, —
Легко героям в мире том:

Они ушли из жизни этой,
Не омраченные стыдом.

С а н а т а

О, если б только до победы
Мне пособил дожить господь,
Я, позабыв бывшие беды,
Сумела б горе побороть.
Наряд бы пестрый я надела,
Опять бы стала весела
И о Джугуре б не скорбела,
О Сабе слезы не лила.
Мой Иванэ был строен станом,
А волосом — чернее туч.
Навстречу грозным басурманам
Летел он, весел и могуч.
Ах, если б жизнь свою могла я
Отдать за детище мое. . .
Меньшой мой, отдыха не зная,
Метал без промаха копье.
Всегда веселый и бесстрашный,
Он смерть увидел наяву,
Но супостата в рукопашной
Косил, как спелую траву.
Но кто из нас речное ложе
Очистить может от камней?
Кто рать врагов осилит, боже,
Когда конца не видно ей?
О, если б люди отомстили
За нашу кровь! Любая мать
О тех, кто спит в сырой могиле,
Тогда не станет горевать.

К чему еще стремиться боле?
Сама готова я идти,
Чтоб рассказать о нашей доле
Тому, кто встретится в пути.
Я восьмерых дала отчизне, —
Неужто пшав, внимая мне,
Хотя б одной сыновней жизни
Не посвятит родной стране?

Нет, дитяtko! Восстанут пшавы,
Поднимутся, рванутся в бой!
Увидев след врага кровавый,
За меч ухватится любой!
О господи, творец вселенной!
Святыни пшавские! Ужель
Вы не избавите от плена
Отчизны нашей колыбель?
Пошли, Ахметская святыня,
Погибель на персидский стан,
Чтоб вся Кахетия отныне
В крови купалась басурман!
Они нас били без пощады,
И душу мучили и плоть...
Ужель свое родное стадо
Не хочет пожалеть господь?
Сойди, Лашари, с горной кручи,
Вздыми свой меч, о властелин!
Благослови союз могучий
Хевсуров, пшавов и тушин!
Да не погибнет челн, плывущий
Среди разгневанных пучин!
Будь нашим кормчим, Лашарела,
Повесь на чресла бранный меч,
Чтоб увенчать победой дело,
Иль за свободу в битве лечь!

П у т н и к

Аминь! Господь тебе помога,
И память вечная сынам!
Длижна, однако, путь-дорога,
Давно пора проститься нам.

С а н а т а

А темень-то, смотри, какая!
Какой уж, на ночь глядя, путь!

П у т н и к

Я в Хевсуретию, родная,
Добраться должен как-нибудь.
Ведь Зезва дал мне порученье
Проникнуть в глубь хевсурских гор,

Дойти до каждого селенья
И заглянуть на каждый двор.

С а н а т а

Ну, если уж такое дело, —
Храни тебя святая мать!
А я-то, дура, ошалела,
Хотела парня задержать!
Должно быть, голоден ты, бедный?
Возьми хоть хлебушка кусок.
(И путнику она заветный
Свой протянула узелок.)
Хоть раз бы пшавский клич победный
Услышать нас сподобил бог!

Превозмогая утомленье,
Пустился путник в глубь страны,
Лишь застучали о каменья
Меча широкие ножны.

І V

Уж бледных звезд погасли хоры
И омрачился лик луны.
В огромных шлемах дремлют горы,
Раздумий тягостных полны.
Зарница на небе мигает,
Грохочет гром из-за хребта,
И вдруг в тумане возникает
Движенье, гомон, суета.
Трезвон набатный долетает
С горы Лашарского Креста.
Они спешат, питомцы славы,
Они идут, сомкнувшись в ряд!
А говорили, будто пшавы
Все уничтожены подряд!
Нет, их немало уцелело,
Немало от мечей ушло.
Теперь за кровь хошарцев смело
Восстало каждое село.
Слетелись соколы к знаменам —
Креста Лашарского птенцы.

Звонят над ними вещим звоном
Знамен хевсурских бубенцы.
Из Рошки яростнее бури
Примчались девять удалцов —
Все из семьи Сумелджаури,
Потомки доблестных отцов.
Своих сынов Чинчараули
Послал Батака из Амги.
Избрав вождем Хошареули,
Пришли гуданцы-смельчаки.
С толпой бойцов из Чормешави
Пришли гулойцы. От копыт
Коней хахматцев на заставе
Земля трясется и звенит.
Без остановки, волчьим шагом,
Кратчайшей следуя тропой,
Бойцы к Арагве по оврагам
Спустились шумною толпой.
И точно так же, как обвалу
Грозы предшествует налет,
Подобен был морскому шквалу
Хевсуров доблестный поход.
Пришла и пшавская дружина
Через ущелье напрямик.
Какая чудная картина!
Какой благословенный миг!
Апхушо воинов послало,
Знакомых с норовом врага, —
Они рубились с ним немало
В борьбе за горные луга.
Ведет их в бой седой Лухуми,
Под ним играет борзый конь,
Хозяйские он знает думы —
Джейран с глазами как огонь.
Махинцаури щит багровый,
Гарцуя, вытянул в руке,
Скакун его, на всё готовый,
Души не чает в седоке.
Габидоуры, Цабауры —
Любой из них лихой боец!
Внимают скалы, темно-буры,
Биенью храбрых их сердец.

С родными селами расстались
Герои-мужи с сердцем львов,
И только женщины остались
За прялками у очагов.

V

Гора усеяна кострами,
Как звезды, светят огоньки.
У врат святилища рядами
Теснятся пшавы-смельчаки.
Блестят алмазами знамена,
Толпа суровая молчит,
Холодный ветер с небосклона
Росою головы кропит.
Какое мертвое молчанье!
Далеко слышен каждый вздох.
У всех бойцов одно желанье —
Скорей услышать предсказанье,
Пошлет ли им победу бог?

Вот прорицатель их, кадаги,
Вопрос святыне задает,
И, преисполненный отваги,
Пред ней склоняется народ.
Иной торопится молиться,
Другой вздыхает у стены.
Сосредоточенные лица
Душевным трепетом полны.
Вот, потрясенный лицезреньем
Таинственного божества,
Старик встает пред ополченьем,
И дышат сдержанным волненьем
Его суровые слова:
«Приятно нашему владыке,
Что мы у врат его сошлись,
Что быстро мы на бой великий
С врагом народным поднялись.
Меня с улыбкою он встретил,
Как солнце, глянул на меня,
И шлем его был чудно светел,
И вся в огнях была броня.

С мечом в руке, как дивный воин,
Благословил он свой народ.
Любой из нас теперь достоин
Его бесчисленных щедрот.
Чтобы неистовые твари
Не издевались над страной,
Внимайте, люди! — сам Лашари
Вас поведет в смертельный бой.
По неким признакам чудесным
Его вы сможете узнать,
Когда он в панцире железном
На лурдже будет восседать.
Он, предводительствуя войском,
Поедет впереди дружин,
И в состязании геройском
Врагов рассеет властелин!»

И вся толпа зашевелилась,
И лица вспыхнули огнем.
«Чем заслужили эту милость
Мы в неразумии своем?
Зачем он трогается с нами?
Не мы ль рабы его навек?»
Но тут суровыми словами
Кадаги возгласы пресек.
«Друзья, — сказал он величаво, —
Сегодня путь у вас один.
Хевсура храброго и пшава
За это любит властелин.
Он любит вас за единенье,
За справедливый общий гнев...»

Костры пылают. И в сраженье,
Стуча зубами, рвется лев.

VI

Быков и жертвенных овечек
Перед святилищем зажав,
О будущих толкуют сечах
Боец-хевсур и воин-пшав.

Запас еды неприхотливой
Подогревая на костре,
Они Лашарский Крест счастливый
Сегодня славят на горе.
Они великую царицу
Тамару хвалят оттого,
Что и она свою частицу
Вложила в это божество.
И воинов они почтили,
Которые, покинув свет,
Не успокоились в могиле,
Кому земли надгробной нет;
Чьи очи выклевали птицы,
Чей прах истлел у края гор,
О чьих победах очевидцы
Слагают песни с давних пор;
Лухуми, старый хевисбери,
Поет о них и, может быть,
Грустя о прошлом, в полной мере
Не может сердца утолить.

VII

Перед далекою дорогой
Справляет трапезу народ,
Один лишь Квирия убогий
Не ест сегодня и не пьет.
Насупясь, горестный и строгий,
Стоит бедняга у ворот.
О чем задумался несчастный,
Зачем невесел сирота? —
Не знают воины, но ясно,
Что он горюет неспроста.

«Садись-ка, Квирия безродный,
Возьми баранины кусок!
Наверно, ты с утра голодный
И весь от холода продрог.
Хвати-ка водочки походной,
Держи матару, голубок!
Когда ж еще, коль не сегодня,
Последний справить нам обед?»

Едва ли время посвободней
Найдем мы завтра для бесед».

Так приглашали дружным хором
Беднягу-пшава земляки,
Но Квирия с потухшим взором
Твердил, рассудку вопреки:
«О чем вы сетуете, братцы!
Я не охотник до вина,
А что до пищи, то, признаться,
Поел я вдоволь толокна.
Смотрите-ка, в моем хурджине
Его немалый есть запас, —
Кому оно по вкусу ныне,
Берите, умоляю вас!»

«О чем же, друг, твое раздумье?
Не сон ли видел ты дурной? —
Спросил у Квирии Лухуми,
К мечу притронувшись рукой. —
Коль что приснилось ненароком,
Доверься воинству вполне,
И предначертанное роком,
Быть может, снять удастся мне».

К в и р и я

Кто разгадает сон неясный?
И что вам речи сироты?

Л у х у м и

Коль ты упорствуешь, несчастный, —
Не будешь знаменщиком ты.
Зачем скрывать свое виденье,
Зачем грустить тебе о нем?
Пускай узнает ополченье
О сновидении твоём.

К в и р и я

Мне снилось: в поле незнакомом
Летел я, весел и могуч.
Хлестала молния, и с громом
Неслась по небу стая туч.

Земные вздрагивали недра,
Хрипенье слышалось коня;
Казалось мне, что крылья ветра,
А не скакун, несут меня.

И вдруг крестом на щит упали
Лучи сверкающих небес
И три огня, блеснув на стали,
Меча украсили эфес.

А поле без конца, без края,
И ни души на нем живой,
И лишь цветы, благоухая,
Стоят, качаясь над травой.

И, как зловещее виденье,
Ползет дракон издалека.
Он лижет землю и растенья
И сыплет искры с языка.

Он сыплет искры, чует сечу,
Он видит всадника вдали,
И рвется он ко мне навстречу,
Чтобы стереть меня с земли.

Раскрыл он пасть, угрюмо воя,
Но я хватил его клинком,
И он свалился предо мною,
И поле вздрогнуло кругом.

И, издыхая, ядовитой
Слюной он брызнул на меня.
Мой конь упал, и как убитый
Упал я около коня.

Очнулся, вижу: подо мною
Сверкает чистая постель,
Платан шумит над головою,
Воркует голубь, как свирель.

Заря играет из тумана,
Восходит солнца чистый лик.

Но, увидав меня, неожиданно
Оно обратно скрылось вмиг.

И только луч зари багровой
Печально глянул на меня,
И я заснул в ночи суровой,
На руку голову склоня. . .

И Квирия замолк, смущенный,
И рассмеялся сладко он.
И был Лухуми удивленный
Виденьем странным огорчен.
Сказал он мягко: «Сон мудреный,
Но пусть к добру твой будет сон!»

VIII

Смутило храбрых сновиденье,
Бойцы нахмурили чело,
Но скоро новое явление
Их от раздумья отвлекло.
С вершины дальнего обрыва
Струя посыпалась песка,
И конский топот торопливый
Донесся к ним издалека.
Вскочили воины, гадая,
Кто это скачет при луне?
Вдруг видят — дева молодая
К ним подъезжает на коне.
Хотя и не было кинжала
На светлом поясе ее,
Зато в руке она держала
Остроконечное копьё.

Н е з н а к о м к а

Да увенчает ваше дело
Победой полною господь!
Пусть вам поможет Лашарела
Врагов отчизны побороть!

Замолкла девушка, сияя,
И улыбнулась, как весна.

Напоминала розу мая
Суровым воинам она.
Она была как воплощенье
Живой любви, для чьих красот
Никто достойного сравненья
И слов достойных не найдет.

Л у х у м и

Откуда, дочь, ты к нам явилась?
Уж не замыслила ли зла?

Л е л а

Отец, господь послал мне милость,
Как верный друг я к вам пришла.
Я — дочка Шанше из Бачали,
Мне имя Лела. Бросив дом,
В годину горя и печали
Решила биться я с врагом.

Х о ш а р е у л и

Ей-богу, это призрак ведьмы,
Он предвещает людям зло.
Должны немедля рассмотреть мы,
Зачем чертовку принесло?

Л е л а

Не замышляю я худого,
Иных я замыслов полна,
Да будет волей всеблагого
Низвергнут в пекло сатана!
Я женщина, но с басурманом
Хочу помериться в бою,
Чтоб угнетателям поганым
Отмстить за Грузию мою.
Что смотрите, хевсуры, пшавы?
Зачем дивитесь вы? Ужель
Не заслужила бранной славы
Грузинка-женщина досель?
Никто из вас не удивится
Усильям девичьей руки,
Но, если битва загорится,
Я буду драться, как волчица,
Своей природе вопреки!

Не забывайте: в Бахтриони
Могуч и крепок супостат,
Там будет биться в обороне
Врагов бесчисленный отряд,
Там стражей тысяча и боле
Хранит ворота день-деньской...
Томится мать моя в неволе
За этой крепкою стеной!
Нет у меня живого брата;
Всех истерзал, замучил враг.
Клянусь, жестокая расплата
За это дело ждет собак!
Не пожалею юной жизни,
Восстановлю родную честь,
Недаром мы в своей отчизне
Считаем правым делом месть.

Л у х у м и

А где родитель твой бездушный?
Зачем он гонит в битву дочь?
Нам лишних воинов не нужно,
Хоть времена черны, как ночь.

Х о ш а р е у л и

(про себя)

Вот вместо воина девчонка!
Ну, дура, господи прости!
Как будто малого ребенка,
Народ желает провести.

Л у х у м и

Так не сказал ни слова Шанше,
Что будет биться он с врагом?
Неужто, как бывало раньше,
Не надевает он шолом?

Л е л а

Да разве он не хочет, бедный,
Не рвется разве к вам душой?
Увы, израненный и бледный,
Лежит он дома чуть живой.
Едва узнав про ваше дело,

Хотел покинуть он кровать,
Но что поделать, если тело
Нельзя душе уврачевать?
Велел он дать себе кольчугу,
На боевого сел коня,
Но, отданный во власть недугу,
Свалился около меня.
Теперь без дочки с боку на бок
Не повернется мой отец.
Он в руку ранен, и вдобавок
Разбит у бедного крестец.

И Лела горько зарыдала:
«Кто знает, люди, может быть,
Седого Шанше нам пристало
Теперь в могилу проводить!»

Сумелджи

Сестра моя, тебе остаться
С болящим следует и впредь, —
Ты перевяжешь раны старца,
Не дашь больному умереть.
Великой цели не утратив,
Мы не останемся в долгу.
За мать несчастную, за братьев
Мы отомстим сполна врагу.
Не уничтожив нечестивца,
Мы не вернемся в лоно скал.

Воины

Иди к болящему, девица,
Сумелджи правильно сказал.
Ты есть или нет, подумай здраво,
Какая разница для нас?
Война — не женская забава.
На этом и закончим сказ.
То, что мы нынче не успели,
Доскажет завтра лютый бой.

Лухуми

Скажи, чтобы скорей с постели
Вставал мой Шанше дорогой.

Скажи ему, не спутай, Лела,
Что мы сильны; люблюю рать
Мы победим; и это смело
Лухуми может обещать.

Л е л а

Отец, могу ль я возвратиться?
Как только сон коснется век,
Мне что ни ночь, несчастной, снится
Какой-то черный человек.
Он черепов приносит груду,
Он руки братьев в час ночной
С усмешкой дьявольской повсюду
Раскладывает предо мной.
Уйдет, и шепчет мне из мрака
Солнцеподобная жена:
«Встань, Лела! Это он, собака,
Ваш лютый враг! Очнись от сна!»
Ни день, ни ночь мне нет покоя,
Ни позабыться, ни заснуть. . .

Замолкла Лела пред толпою,
И слезы хлынули на грудь.
Не взятую на подвиг ратный,
Полуослепшую от слез,
Помимо воли в путь обратный
Могучий конь ее понес.
Лишь сонмы гор запечатлели
Ее последний горький стон
Да родники о бедной Леле
В слезах запели с двух сторон.
Пиримзе, цветик горный, сирю
Свой стебелек согнул вдали, —
Мечта измученного мира
Скорбит над пропастью земли.

IX

В ущелье дикое по скалам
Спустилась Лела с высоты.
Над ней весенним покрывалом
Луга пестреют и цветы.

И вдруг слышала девица
Какой-то отдаленный крик.
Глядит — за нею всадник мчится
С горы Ахадской напрямик.
Кричит: «Постой, послушай, Лела,
Остановись, моя сестра!
Ты вся от горя помертвела,
Тебе опомниться пора!»
И Лела с лошади слезает,
И, привязав ее к стволу,
Садится и копьё бросает,
И смотрит, грустная, во мглу.
И вот, за девушку встревожен,
В ущелье каменных высот,
Как меч, исторгнутый из ножен,
Пред нею Квирия встает.

К в и р и я

Прими меня как брата, Лела,
Зови себя моей сестрой.
Не посчитай за злое дело,
Что я погнался за тобой.
Зовусь я Квирия, родная,
Я из Тушетии гонец,
Питомец этого я края,
Но здесь, как видишь, не жилец.
Отец мой — Гиви из Матуры,
Давно умерший гуртоправ,
Мои дядья — Гоголауры,
И, значит, я — природный пшав.
Я слышал все твои ответы,
Но, старшинству наперекор,
Могу ли я давать советы
И вмешиваться в разговор?
Напрасно старшие решили
Не допускать тебя в поход.
«Сноровка нам нужнее силы», —
Сложил пословицу народ.
Кому вдомек, что Бахтриони
Простой осадю не взять,
Что там засела в обороне
Врагов бесчисленная рать?

Что вражьей крепости ворота
Нам не осилить никогда,
Что нам открыть их должен кто-то,
Коль мы хотим войти туда.
Сестра, пришел черед за нами,
Поборемся за край родной!
Невдалеке перед бойцами
Поедем, милая, со мной.
Подъехав к вражескому стану,
Скажу я страже: «Краше роз
В подарок доблестному хану
Красотку-деву я привез».
И стража нас пропустит в двери,
И проберемся мы к врагу,
И, обманув его доверье,
Я нашим людям помогу.
Открыть ворота я сумею,
Пускай заколот буду я.
Согласна ль ты мою затею
Осуществить, сестра моя?

Л е л а

Я, милый брат, на всё согласна.
Как лучше сделать — знаешь сам.
Рассудок мой не мыслит ясно,
Предавшись горю и слезам.
Одно лишь сердце бьется страстно,
Питая ненависть к врагам!
Да будет так, как мы решили!
И я готова смерть принять,
Лишь только б дерзких за насилье
К ослиным стойлам привязать.
Не страшно мне сгореть в горниле,
Там, где моя страдает мать.

И в этом сговоре геройском,
С горы на гору, по крутой
Спешат тропинке перед войском,
Навстречу смерти — брат с сестрой.

Х

Уж смыло солнце с небосвода
Ночную копоть облаков
И облачилась вся природа
В благоухающий покров.
Звенят знамена бубенцами,
Безмолвно двигается рать,
С вершин скалистых над бойцами
Лучей струится благодать.
Вдруг руку в поруче железном
Лухуми вытянул: «Гляди,
Вон на коне своем чудесном
Лашари едет впереди!»

Первый всадник
Его я первым заметил,
Когда поднялся на хребет.
Смотрите, как он дивно светел,
Сияньем солнечным одет!

Второй всадник
Он оседлал сегодня лурджу,
Он нас повел в далекий путь.
Владыка наш, любому мужу
Он наполняет счастьем грудь!

Третий всадник
Он голубей самой лазури,
Луч солнца следует за ним,
Он освещает сто дигури,
Как молнией, лицом своим!

Четвертый всадник
И я его увидел! Вот он,
В своей сверкающей броне,
Из света солнечного соткан,
Гарцует, сидя на коне!

Войско

Хвала тебе, хвала, Лашари,
Наш всемогущий властелин!

Веди нас в громе и пожаре,
Мы все с тобою как один!
Пусть супостат не торжествует,
Мы победим его, друзья!
Недаром путь нам указывает
Благословенная стезя!

Горят огнем подковы лурджи,
На камне светятся следы,
Ликуют доблестные мужи,
Своим водителем горды.

XI

Зажегся день, и, замирая,
Заря исчезла в вышине.
О, если б красота любая
Сгорала с нею наравне!
Благоуханная, с рассветом
Она вставала бы опять,
И расцветала в мире этом,
Чтоб наши взоры чаровать.

О, если бы огонь небесный
Не угасал в душе у нас
И снова вспыхивал, чудесный,
Когда безвременно погас!
Ужасней мертвеца живого
Лишенный сердца человек, —
Престол из льда — его основа,
Любовь чужда ему вовек.

Ему не жаль меньшого брата,
Пусть захлебнется тот в крови...
И так он сгинет без возврата,
Не увидав вершин любви.
В трясине смрадной и тлетворной
Погрызнет он, как жалкий тать.
На путь бесчувственности черной
Ужасно мыслящему встать!

И вот — истоки Алазани,
 Вдали видны вершины гор.
 Куда ни глянь, в седом тумане
 Чернеет темный их собор.
 То грудь целуя небосвода,
 То опускаясь в глубь полей,
 Они закрыли мир. Природа
 Питает кровью их своей.

Как великаны-старожилы,
 На неприступной высоте,
 Они едва имеют силы
 Стоять, не двигаясь во сне.
 Они разбрасывают тучи,
 В лучах сверкают золотых,
 И, как всегда, они могучи,
 И мир сломить бессилен их.

Так, друг на друга опираясь,
 Они стоят, сомкнувшись в ряд;
 Как мертвецы, не содрогаясь,
 Они таинственно молчат.
 И что́ средь всех творений света
 Сравнится с сонмом гор, когда
 Ночною теменью одета
 Их неподвижная гряда?

Туманы — это размышленья
 Могучих гор, седой венец
 Их человечности, томленья
 Несокрушимых их сердец.
 Люблю травы я колыханье
 На их груди и в поздний час
 Ветров безродных завыванье,
 Испепеляющее нас.

Парят орлы, пронзают оком
 Глубины черных пропастей,
 Где спят в забвении глубоком
 Остатки тлеющих костей.

Как воины на поле боя,
В туманах сумеречной мглы,
Прорезав небо громовое,
Перекликаются орлы.

Войска идут нагорным лугом,
Минуя скалы и леса.
Перекликаются друг с другом
Свободных горцев голоса.
Идут, заране торжествуя,
За рядом ряд, за братом брат,
И на Кахетию родную
С душевным трепетом глядят.

ХІІІ

На склоне горного отрога
Бойцы устроили привал.
И вдруг неожиданная тревога:
«Куда наш Квирия пропал?»
Как будто стог сухого сена,
Хошареули вспыхнул вмиг:
«Смотрите, как бы нас измена
Не завела теперь в тупик!
Гонец, быть может, соглядатай,
Он не был дома много лет.
Предупредив врага, проклятый,
Он нанесет немалый вред!»

В о и н ы

Конечно, если ради денег
Он перекинется к врагу,
Начнет бессовестный изменник
Вредить родному очагу.
Устроив нам кровопролитье,
Он сам засыплет нас землей!

Л у х у м и

О мужи, что вы говорите?
Вы сплетне верите любой!
Вооруженные мечами,
Вы как погонщики ослов!

Взгляните трезвыми очами
На край родной, на отчий кров!
Всё разумеющие мужи,
Скажите, кто из вас слышал,
Чтоб человек свое оружие
И край родимый продавал?
Ужели в мире есть измена
Еще ужасней и черней,
Чем обречь на муки плена
Своих собратьев и друзей?
Всё это ложь! Пустое слово
Я не люблю. Неужто рать
В обличье пшава молодого
Не может друга распознать?
Вас охватила лихорадка,
Вы устрашились западни.
Ужель не может быть порядка
Среди друзей в такие дни?

С у м ё л д ж и

Любой из нас сказал бы то же,
Коль поразмыслил сам с собой.
Подозревать друзей негоже
В дружине нашей боевой.

В о и н ы

И верно! Кто имеет право
Считать гонца способным к злу?
Мы класть на лук не будем пшава,
Как легковесную стрелу.
Не мыслит Квирия худого,
Иной он замысел таит.
Он — сирота, ему не ново
Страдать от горя и обид.
Пусть он от нас исчез неожиданно,
Пускай ушел по-воровски, —
Не будет он слугою хана,
Как говорили земляки.

Л у х у м и

Вот голоса благоразумья!
Услышать их приятно мне.

Ведь соглядатая Лухуми
И сам заметить мог вполне.

И смолкли все, и постепенно
Сомненья каждый превозмог.
С горы Сперозы неизменный
Прохладный дует ветерок.
Войска, не изменяя шага,
Спустились вниз по склону скал,
Чтоб путь извилистый оврага
Дорогу им не удлинял.
Уж слышен ропот Алазани.
Спокойная среди равнин,
Она здесь роет основанье
Отрогов горных и теснин.

XIV

На неприступной Накерале,
Все в бурках из овечьих шкур,
Тушины доблестные ждали
Прибытья пшавов и хевсур.
Неутомимые в походах,
Неустрашимые в боях,
Бойцы стояли на высотах,
Знамена ратные подняв.
И сквозь дружину боевую
Пустив коня во весь опор,
Лухуми, гордо джигитуя,
Поднялся к ним на косогор.

Л у х у м и

А где же Зезва ваш, тушины?
Коль он в бою непобедим,
Хочу я здесь при всей дружине
На поединке биться с ним!

Косматые нахмурив брови,
Прикрыл он грудь свою щитом:
«Давно я жажду этой крови,
Враждой старинною влеком!»

Тушины смотрят на Лухуми,
Запала горечь в их сердца.
«Как видно, — думают, — безумье
Затмило разум храбреца.
Чтобы низвергнуть супостата,
Мы ждали помощи, и вот
На своего родного брата
Наглец с оружием идет!»
А Зезва видит побратима,
С мечом выходит наголо,
И бьется он неутомимо,
И в шутку дышит тяжело.
И наконец родные братья,
Закончив бой по-мастерски,
Друг другу кинулись в объятия,
Отбросив ратные клинки.

Л у х у м и

Ах, брат мой Зезва, как мне сладко,
Что вижу я тебя опять!
Клянусь, люблю твою ухватку,
Когда ты мчишься наступать!
Мы постарели, братец, оба,
Ты весь, я вижу, в седине. . .
А где же конь твой белолобый,
Тебя носивший на войне?

З е з в а

Немудрено, что я немолод!
Едва покинув колыбель,
И днем и ночью, в зной и в холод,
В походах вечных я досель.
Ведь до сих пор мой конь на месте
Лишь раза два стоит в году.
А сколько раз с тобою вместе
У всех мы бились на виду!
Давно погиб мой белолобый,
Сраженный сворой злобных псов,
Которых я, пылая злобой,
Сегодня снова бить готов.

Л у х у м и

Клянусь, хлебнули полной чашей
Мы разных горестей и мук.
Но, коль судьба такая наша,
И впредь потерпим, милый друг!

З е з в а

А помнишь, брат, как мы в Сабуе
Пекли лепешки из лезгин?
Мой конь тогда в богатой сбруе
Носил меня среди теснин.
Едва клинок пустил я в дело,
Один с отсеченной башкой
Свалился в прах...

Л у х у м и

Всё так ли смело
Ты нынче рубишь, братец мой?

З е з в а

...Едва башка его упала,
Зубами стукнула тотчас.
Ей-богу, так стучит клепало
На старой мельнице у нас.
Ты пожалел лезгина, знаю,
Не устоявшего в борьбе.
Случись там женщина какая —
В лицо бы плюнула тебе!
Я не жалею их, неверных,
Мне басурманы не родня.
От их жестокостей безмерных
Клокочет в горле у меня.
Жалеть! А нас они жалели,
Когда рубили наповал?
Нет, убивать их в самом деле
Сам бог тушинам приказал!

Бойцы приветствуют друг друга,
Клянутся клятвой боевой,
Знамена посредине круга
Благословляют их на бой.

Опять родная кровь ручьями
Зальет и долы и хребет. . .
Над Кахетинскими горами
Пылает утренний рассвет.

ХV

Зажглась заря на небосклоне.
Настало утро четверга.
Тяжелый день для Бахтриони,
Удел печальный для врага!
Луна свободы на Борбале
Обрисовалась, и вдали
Потоки крови засверкали
И к Алазани потекли.

Мечи, отточенные в сече,
Взметают искры. Каждый след
Дымится кровью человеческой,
Но басурманам счастья нет.
Уже в смятении великом
Они рассыпались кругом,
И Зезва, вскакивая с криком,
Летит в погоню за врагом.
Уже в руках Хошареули
Переломился франкский меч,
Уж слезы гневные блеснули
В глазах его, но нечем сечь;
Уже кремневка у Лухуми
Дала осечку, но герой
Без колебаний и раздумий
Клинок выхватывает свой;
Пришпорив яростного лурджу,
Дружину он свою зовет:
«Все те, кто носит шапку мужа,
Вперед, бесстрашные, вперед!»

Уже противиться разгрому
Твердыня больше не могла.
Подобно валу крепостному,
Лежали мертвые тела.

В те дни грузинская долина
Благословляла племя гор
И каждый горец для грузина
Служил примером с этих пор.

ХVI

«Сквозь реки, горы и дубравы,
Пришпорив взмысленных коней,
Откуда вы несетесь, пшавы,
С веселой песнею своей?
Зачем знамена бранной славы
Шумят над вами всё сильнее?»

«Из Кахетинской мы долины,
Из Бахтриони мы чуть свет.
Хевсуры с нами и тушины
Сошлись в Панкиси на совет.
Покончив с недругом, дружины
Спешат домой через хребет».

«А что случилось там такое?
С чего там вспыхнула война?»

«Там басурманскою ордою
Была страна разорена.
Ужель об этом вы насильи
Не знали, люди, до сих пор?
Теперь мы хана подстрелили,
Врага прогнали с наших гор.
Мы отомстили басурману,
Оставив груды мертвых тел,
И через снежную Тбатану
В родной направились предел.
Покрылись мылом наши кони,
Одолевая высоту,
Они везут из Бахтриони
Дары Лашарскому Кресту.
Сам царь лесами и лугами
Нас наделяет за поход,
Но слава, добытая нами,
Дороже всех его щедрот».

«А это чьи два мертвых тела
Везете в бурках вы с собой?»

«То славный Квирия и Лела,
Погибшие за край родной.
Они достойны этой чести,
Они открыть сумели нам
Ворота крепости и вместе
Погибли, схваченные там.
Мы им устроим погребенье
В краю их дедов и отцов,
Где охраняют поколения
Могилы наших храбрецов.
Нельзя им с родиной расстаться,
Им дорог прах родных полей.
Легко им будет покрываться
Землей родимую своей».

«Кого же славой всенародной
Из вас отметить надлежит?»

«Да будет Квирия безродный
Меж нами первый знаменит.
Вторая — Лела из Бачали,
Девушка с пряжею в руках.
Лухуми — третий, — мы видали,
Как он врага развеял в прах.
Четвертый — наш Хошареули,
Орел с печатью на крыле,
Сумелджи — пятый; ранен пулей,
Он еле держится в седле».

«А кто отличья удостоен
Среди тушинских был дружин?»

«Бесстрашный Зезва, старый воин,
Он — самый лучший из тушин!
Он невысок собой, не скроем,
И стан его не слишком прям,
Но оказался он героем,
Как подобает главарям.

Он лев, клянемся властелином,
Он в бой, как молния, летит.
Весьма идет к его сединам
Покрытый росписями щит.
Пробитый пулею, поверьте,
Он смерть едва переборол,
Но даже перед ликом смерти
Ни разу бровью не повел.
С какой тоской, с какой любовью
Рыдало войско вокруг него,
Поставив знамя к изголовью
Вождя седого своего!»

«Теперь откройте людям, пшавы,
Кто запятнал себя в бою?»

«Цицола, висельник лукавый,
Он предал родину свою!
Сбежал он, подлый, с поля боя,
При жизни умер навсегда.
Пускай теперь, избрав любое
Село, он явится сюда!
Пускай с бесстыжими глазами
Вернется он в свою страну!
Народ побьет его камнями,
Он не простит ему вину.
Хорош боец! Как в воду канув,
Уж не с ума ли он сошел?
Зачем он плен у басурманов
Иль даже смерть не предпочел?
Коль отщепенца не заботит
То, чем любой из нас горит, —
Пускай земля его поглотит,
Пусть гром небесный поразит!
Недаром говорят в народе,
Узнав о мерзости такой:
«Тот не мужчина по природе,
Кто лишь бахвалится собой».

«А где же наш Лухуми старый,
Наставник пшавский и отец?»

«Увы, господь великой карой
Сразил нас, бедных, под конец!
Перед родимым нашим краем
Должна признаться наша рать:
Мы ничего о нем не знаем,
Как ни старались разузнать.
Когда вернулись мы с погони
И все собрались у знамен, —
Освободитель Бахтриони,
Не возвратился только он.
Гордясь содружеством старинным
С отважным Зезвой, может быть
Решил заехать он к тушинам,
Больного друга проводить.
Но это — лишь предположение
Его встревоженных друзей,
И нас его исчезновение
Тошит загадкою своей».

XVII

Ночь. Отдыхает вся природа.
Холмы одеты темной.
Луна, светило небосвода,
И та исчезла за горой.
Туманным рощицам Иори
Свои рассказывает сны,
Объединяя в общем хоре
И шепот звезд и шум волны.
Сверкают сонмы звезд нетленных,
Неугасимые вовек.
В железных поручах военных
Висит на дубе человек.
Как видно, в горе он немало
Себя прикончил самого...
Но, погоняя вал за валом,
Река не смотрит на него.
Ее нимало не тревожит,
Что дети будут без отца,
Что псы голодные изложут
Самоубийцу-беглеца.

ХVIII

Седая женщина в Схловани
С утра рыдает до утра:
«Пускай сорвется с основанья
И раздробит мне грудь гора!
Не родила б я лучше сына,
Сама б на свет не родилась,
Чем славу добрую грузина
Увидеть втопанною в грязь!
Сынок с веревкою на шее,
Ты опозорил жизнь мою.
Зачем, за родину боля,
Ты не погиб в честном бою?
Зачем с веселым светлым ликом
Ты не вернулся в отчий дом,
Но умер грешником великим,
Убитый страхом и стыдом?»

Зачем старуха причитает
Одна? Зачем во всем селе
Никто добром не поминает
Того, кто найден был в петле?

Народ на празднике святыни
Из чаши выплеснул вино.
Оплакать мертвого в общине
Отныне всем запрещено.
Свершил Цицولا преступленье,
Грех, достающий до небес.
Он опозорил всё селенье,
Когда из воинства исчез.
Кто будет рыть ему могилу?
Кто будет гроб ему стругать?
Пускай, живая через силу,
Над ним одна рыдает мать!»

ХIХ

И есть народное сказанье:
В трущобе леса, чуть живой,
Лежал Лухуми без сознания,
Пробитый пулей роковой.

Над ним огромного размера
До неба высилась скала.
В скале глубокая пещера
Вся мохом выстлана была.
Покрытый ржавою щетиной,
В пещере жил могучий Змей.
Немало крови неповинной
В трущобе пролил он своей.
Немало он пожрал, проклятый,
Людей и хищников лесных,
Когда, как злобный соглядатай,
Лежал, высматривая их.
И в трепете бежали звери
От этих мест, не чуя ног,
И подойти к его пещере
Никто осмелиться не мог.

Однажды на ветвях платана,
Лучами солнца озарен,
Как будто облако тумана,
Лежал, посвистывая, он.
И вдруг из зарослей бурьяна
Послышался далекий стон.

И Змей увидел: под скалою,
Навылет пулею пробит,
Какой-то раненый с мольбою
На небо синее глядит,
И кровь багровою струею
Седую грудь его кропит.

И стало Змею жаль Лухуми,
И всей громадою своей
Пополз он вниз в тяжелом шуме
Засохших листьев и ветвей.
И устремил глаза в раздумье
На умирающего Змей.

Глядит, свое оставив око,
Людским страданиям дивясь...
И так задумался глубоко,
Что ярость в сердце улеглась.

В нем, этом сумрачном созданье,
Содеявшем так много зла,
Святая сила состраданья
Змеиный нрав превозмогла!
И вот уже к едва живому
Он телу силится прильнуть,
И лижет раны он больному,
И слезы льет ему на грудь.

И так четыре он недели,
Об умирающем скорбя,
Героя пестовал в ущелье,
Не узнавая сам себя.
Поил водою родниковой,
Из леса пищу приносил
И, прилепившись к жизни новой,
Страдальцу сказки говорил.

И весь народ твердит в раздумье,
Что, исцелившись в том краю,
Еще поднимется Лухуми
К Лашари, на гору свою.

ГОСТЬ И ХОЗЯИН

I

Бледна лицом и молчалива,
В ночную мглу погружена,
На троне горного массива
Видна Кистинская страна.
В ущелье лая торопливо,
Клокочет злобная волна.
Хребта огромные отроги,
В крови от темени до пят,
Склоняясь к речке, моют ноги,
Как будто кровь отмыть хотят.
По горной крадучись дороге,
Убийцу брата ищет брат.

Дорогой всё же я напрасно
Тропинку узкую назвал.
Ходить здесь трудно и опасно,
Едва оступишься — пропал.
Глядит кистинское селенье
Гнездом орлиным с вышины,
И вид его нам тешит зренье,
Как грудь красавицы жены.
И над селеньем этим малым,
Довольный зрелищем высот,
Как бы прислушиваясь к скалам,
Туман задумчивый встает.
Недолгий гость, за перевалом
Он на восходе пропадет.

Промчится он над ледниками,
Расстелется меж горных пик,
И горы, видимые нами,
Незримы сделаются вмиг.
В охоте будет мало толку —
Охотник потеряет путь,
Зато убийце или волку
Удобней будет прошмыгнуть.

II

Вдруг камень сверху покотился,
И человек, заслышав гул,
Над пропастью остановился
И вверх испуганно взглянул.
Прислушался. Через мгновенье
Струя посыпалась песка,
И за ружье без промедленья
Схватила путника рука.
Кого там ночью носят черти?
Глядит: над самую тропой
Какой-то кист развилку жерди
По склону тащит за собой.
Песок и камешки сбивая,
Волочит что-то по земле.
Блестит, как капля дождевая,
Кольцо ружейное во мгле.

«Ты что тут бродишь, греховодник?»
И слышен издали ответ:
«Не видишь разве? Я охотник.
А вот к тебе доверья нет». —
«А в чем, скажи, твои сомненья?
Зачем болтать о пустяках?
Ужель нельзя без подозренья
С прохожим встретиться в горах?
И я охотник, но сегодня
Я без добычи, верь не верь». —
«На это воля, брат, господня!
Зато остался без потерь». —
«Потеря в том, что еле-еле
До этих мест я дошагал.

Я днем облазил все ущелья,
Обшарил каждый буревал.
Вдруг мгла надвинулась ночная,
Рванулся вихрь, сбивая с ног,
И прынул в горы, завывая
Голодным волком из берлог.
Найти тропу вдали от дома
Мне ночью было мудрено, —
Мне это место незнакомо,
Я здесь не хаживал давно.
Зверей, однако, тут немало
На горном прячется лугу.
Я слышал, как рогами в скалы
Стучали туры на бегу.
Эх, как болело, братец, сердце!
Не то что взять их на прицел, —
Не в силах к месту присмотреться,
Я шагу там шагнуть не смел».

И незнакомец, что поодаль
Стоял, возник из темноты.
«Ну, здравствуй! Зверя тебе вдоволь!» —
«Спасибо, будь здоров и ты!» —
«Не сетуй, братец! Вот дичина! —
И незнакомец показал
На тушу тура-исполина,
Подстреленного между скал. —
Чем зря скитаться по ущельям
В чужом, неведомом краю,
Давай, как братья, мы поделим
Добычу славную мою.
Я говорю тебе без шуток!
Позор мне будет, если я
Тебя в такое время суток
Без пищи брошу и жилья.
Ты не хевсур ли ненароком?
Как звать тебя, мой дорогой?» —
«Зовусь я Нунуа. В далеком
Селенье Чиэ домик мой».

Солгал, солгал Звиадаури,
Свое оң имя не открыл!

Хевсур, отважный по натуре,
Немало кистов он убил.
Здесь, в этих селах, повсеместно
Давно в кровавом он долгу,
Его здесь имя всем известно
И смерть на каждом ждет шагу.
«Скажи и ты, — к чему таиться? —
Открой мне прозвище свое». —
«Джохола я Алхастайдзе,
Здесь в двух шагах село мое.
Из камня прочного в Джареге
Любому мой известен дом.
Коль ты нуждаешься в ночлеге,
Туда мы двинемся вдвоем.
Придется ль он тебе по нраву —
Не знаю я, но гостю рад.
Наутро, выспавшись на славу,
Ты сможешь тронуться назад». —
«Тот, кто не сеял, только сдуру
Надеется на урожай.
Ты перерезал горло туру,
Ты и добычу получай.
Переночую ночь, не боле,
И тура помогу донести,
Но, чтобы быть с тобою в доле, —
На это совесть, братец, есть!»

Освежевав на камне зверя,
Спустились горцы под обрыв,
Беседой, полною доверья,
Свое знакомство укрепив.

III

Пришли. Глядят на чужестранца
Бойницы башенных громад.
Лачуги, сложены из сланца,
Как скалы, вытянулись в ряд.
Собак свирепых лает стая,
Ребята смотрят из дверей.
«Вот наша хижина простая,
Старинный дом семьи моей.

Здесь гостю нет ни в чем отказа,
Войди как родственник к родне.
Открой нам хижину, Агаза!» —
Кричит кистин своей жене.
Хозяйской гордости оттенок
Звучит в речах его простых,
Когда он входит за простенок
Сеней вместительных своих.
Стоит в сенях Звиадаури
И слышит: возле очага
Старик, играя на пандури,
Поет походы на врага.
Поет старинные сраженья,
Седую славит старину,
Дружин хевсурских пораженья,
Отмщенье крови и войну.
Поет безжалостную сечу,
Хвалу героям воздает. . .
Но вот из хижины навстречу
Вся в черном женщина идет.
Идет, накинув покрывало,
Стройна, приветлива на вид.
«Вот гостя нам судьба послала, —
Ей муж с порога говорит. —
На нашем доме без сомненья
Почила божья благодать.
Посмотрим, сколь в тебе уменья
Знакомца нового принять». —
«Мир путнику под сенью крова!» —
Сказала женщина в ответ.
«Мир и тебе, и будь здорова
С детьми и мужем много лет!»
И муж порог переступает,
И путник, следуя за ним,
Оружье женщине вручает,
Как гость его и побратим.

IV

Как старый тигр в дремучих скалах,
Старик поднялся, хмур и строг,
Увидев путников усталых,

Переступивших за порог.
Обычай горцев соблюдая
И песни обрывая нить,
Обязан, на ноги вставая,
Чужого гостя он почитать.
Но, увидав Звиадаури,
Который многих здесь убил,
Какой порыв душевной бури
Он, изумленный, ощутил!
Трепещет яростное сердце,
Пылают очи старика;
Почуяв в доме иноверца,
К кинжалу тянется рука,
Но можно ль схватке разгореться,
Коль враг в гостях у земляка?
И вышел старый незаметно,
И палец в злобе укусил,
И в грудь, взволнованный и бледный,
Себя ударил что есть сил.
Ушел. И вот от дома к дому
Бежит неслыханная весть:
«Кистины, кровник ваш знакомый
Ночует у Джохолы здесь!
Его, разбойника ущелий
И кровопийцу мирных скал,
Джохола, видимо, доселе
Еще ни разу не видал.
Теперь насильник в нашей власти,
Мы не простим ему обид.
Посмотрим, кто кого зубастей,
Коль нашей кровью он не сыт.
Убитый им прошедшим летом,
Отмщенья требует сосед.
Верны отеческим заветам,
Как можем мы забыть об этом,
Когда препятствий больше нет?
Дивлюсь Джохоле я! Должно быть,
Совсем он спятил, если мог
Такого зверя не ухлопать
И допустить на свой порог.
Но мы пока еще не слабы,
Мы вражью кровь заставим течь,

А коль не так, пусть носят бабы,
А не мужчины, щит и меч!»

И взволновалось всё селенье,
И ухватился стар и мал
В единодушном озлобленьи
За неразлучный свой кинжал.
Чтоб успокоился в гробнице
Неотомщенный их мертвец,
Пусть над могилою убийца
Простится с жизнью наконец!
И чтоб не скрылся виноватый
И был прослежен, — всем селом
Благонадежный соглядатай
К Джохоле послан был тайком.
«Зайди как будто бы случайно, —
Ему сказали, — но смотри,
Коль разболтаешь нашу тайну,
Потом себя благодари.
Сумей сойти за балагура,
Приметь, где ляжет гость в постель,
Чтоб ночью этого хевсура
Не упустить нам, как досель».

И вот подсланный за ужин
Садится с гостем, приглашен.
Он краснобай, он добродушен,
Он разговорчив и умен.
Джохолу с радостною миной
Не устает он величать,
А то, что в сердце яд змеинный, —
Кто это может распознать?

Хозяин с гостя глаз не сводит
И угощает без конца.
Он рад, он весел, он находит,
Что нынче встретил молодца.
Доволен он невыразимо:
Сегодня дружбы их почин,
А там и вправду побратима
Найдет в охотнике кистин.

Он на ночь гостю уступает
Свою плетеную кровать,
Но гость услугу отклоняет:
Он в комнате не может спать.
Как видно, с самого рожденья
Неприспособлен он к теплу.
Он на ночь просит разрешенья
В сенях пристроиться в углу.

И вот лазутчику награда —
Он всё разнюхал без труда,
Ему лишь этого и надо,
Затем и послан он сюда!
И поспешил он возвратиться
Домой, смеясь исподтишка.
Довольна хитрая лисица,
Что выследила петушка!

У

«Жена, послушай, что такое?
Поддай скорее мне кинжал!
Творится дело не простое, —
Не враг ли на село напал?
Наш гость, как видно, отпер двери
И, замышляя нам беду,
Под видом дружбы и доверья
Навел разбойничью орду.
Тсс... Подожди... Не в этом дело...
Тут наши люди... Вот беда!
Зачем они остервенело
Кричат и ломаются сюда?
Не я ль причина этой злости?
Ты слышишь хрип? Откуда он?
Жена, они схватили гостя!
Кинжал над гостем занесен!
Как? Презирать законы крова?
Мое достоинство и честь
Топтать, как тряпку? Это ново!
Что происходит с нами здесь?»

Еще глазам своим не веря,
Кинжал Джохола вырвал вон,
И, открывая настежь двери,
В толпу людей метнулся он.
«Вы что, с ума сошли, кистины?
Чей гость тут связан, чуть живой?
Зачем, презрев закон старинный,
Вы надругались надо мной?
Клянусь вам верой Магомета,
Гостеприимство — наша честь!
А если вы забыли это,
Так у меня оружие есть!»

«Ой, не бреши, дурак, впустую!
Чья окаянная рука
На мать поднимется родную
Во имя кровного врага?
Приди в сознание, пустомеля!
Кого ты принял в отчий дом?
Такого гостя мы в ущелье
Вслед за хозяином столкнем!
Род разберется в этом деле,
Получит каждый поделом.
Откуда ты набрался дури?
У нас в горах любой малыш
Узнать бы мог Звиадаури,
Тебя ж провел он. Что молчишь?
Не он ли здешним был громилой,
Не он ли, прячась по кустам,
Как зверь жестокий и постылый,
Устраивал засады нам?»

Джохола смотрит, и сомненье
Закралось в грудь его на миг,
И, погруженный в размышленье,
Перед толпою он поник.

«Не он ли, бешеный, когда-то
Засел у нас в березняке,
И твоего прикончил брата,
И ускакал с ружьем в руке?
— Вот я каков, Звиадаури! —

К нам доносилось из-за гор.
Какая злость кипит в хевсуре,
Известно людям с этих пор.
Наполнив нашими стадами
Пшав-хевсуретские луга,
Он враждовал и дрался с нами,
И поднимал на нас врага.
Зачем позоришь ты, несчастный,
Себя, свой дом, свою жену,
И в слепоте своей опасной
С ним делишь трапезу одну?»

«Пусть это так... Пускай вы правы...
Но всё, что вы сказали мне,
Еще не повод для расправы,
И вы — преступники вдвойне!
Сегодня гость он мой, кистины!
И если б море крови был
Он должен мне, здесь нет причины,
Чтоб горец гостю изменил.
Пусти, Муса, пусти, убийца,
Его напрасно не терзай!
Когда из дома удалится,
Тогда как хочешь поступай.
Соседи, вы не на дороге
Грозите вашему врагу.
Какой вы, стоя на пороге,
Отчет дадите очагу?
О горе вам, сыны кистинов!
На безоружного толпой
Напали нынче вы, отринув
Отцов обычай вековой!»

М у с а

Ну и тебе не будет сладко!
Связать недолго наглеца,
Коль родового он порядка
Не уважает до конца.
Пока, добравшись до хевсура,
Мы не виним тебя всерьез,

Ты из-за этого гяура
Враждуешь с братьями, как пес.

Д ж о х о л а

Что? Пес? В тебе ума хватило
Меня собакою назвать? —
И в грудь Мусы он что есть силы
Вонзил кинжал по рукоять. —
Вались, проклятый пес, в могилу,
Чтобы не лаяться опять!
Кистины, вы смешали с прахом
Всё то, что свято для меня.
Я перебью, клянусь аллахом,
Всех вас, хоть вы мне и родня!
Законы крова вы презрели,
О, будьте прокляты навек!

«Что натворил он в самом деле!» —
«Совсем рехнулся человек!»

И вот Джохолу повалили
И, окружив со всех сторон,
Веревкой накрепко скрутили,
Пока меча не вынул он.
Избит и брошен на солому,
Он, как мертвец, лежит в сенях...
Народный гнев подобен грому,
Его удар разносит в прах.

О чем твердит Звиадаури,
Слова невнятные шепча?
Кипит, бушует кровь в хевсуре,
Но нет в руке его меча.
«Увы, попался я, собаки.
Удачный выпал вам денек!»
Но уж народ его во мраке
Куда-то с ревом поволок.
Пора убийце-сумасброду
В могильную спуститься тьму,
Чтобы, покойнику в угоду,
Таскать ему за гробом воду
Иль бандули плесть ему!

Есть за аулом холм унылый,
 Лучами выжженный дотла.
 Там, погруженные в могилы,
 Спят львиносердые тела.
 Вода их влагою омыла,
 Гора их глиной облегла.
 Под сводом каменного гроба
 Сердца не бьются храбрецов,
 Земли жестокая утроба
 Снедает кости мертвецов.
 Стирает облик человеческий
 Со всех, кто яростен и смел,
 Не дрогнул духом перед сечей
 И, вынув меч, не оробел.
 Таков извечный грех природы,
 Печаль великая моя.
 Хотѣ зол, хотѣ добр, — настанут тоды —
 И ты умрешь для бытия.
 Ведь всех пловцов поглотят воды,
 Коль опрокинется ладья.

Еще не выплыло светило,
 Еще росой светился луг,
 Еще поля не осенило
 Дыханьем утренним, как вдруг
 Толпа людей холмы покрыла
 И зашумело всё вокруг.
 Весь в путах шел Звиадаури,
 Влекомый грозною толпой.
 Кто здесь заплачет по хевсуре?
 Здесь рад убить его любой!
 Нам смерть страшна, но коль случится
 Чужой увидеть нам конец,
 Любой на место казни мчится
 И наслаждается, глупец.
 О, сколько извергов я знаю,
 Которые в великом зле,
 Челом безоблачным сияя,
 Спокойно ходят по земле!

И вот оно — кладбище кистов,
 Где спит убитый их Дарла.
 Встав над могилою, неистов,
 Взывает к мертвому мулла:
 «Дарла, забудь свои мученья,
 Дарла, взгляни, перед тобой
 Стоит сегодня всё селенье
 И вместе с ним — убийца твой.
 Его, как жертву, в мир загробный
 Мы бросим к телу твоему!»
 И вдруг раздался голос злобный:
 «Пес будет жертвою ему!»
 Хевсур стоит и злобой пышет,
 Неустрашим и величав,
 И ветер волосы колышет,
 Как гриву львиную подъяв.
 Огнем душа его объята,
 Он, как железо, в землю врос.
 Страшится ль острого булата
 Покрытый ржавчиной утес?
 Но валят с ног его кистины
 И шепчут, яростны и злы:
 «Признай, проклятый, господина,
 Будь жертвой нашего Дарлы!» —
 «Пес будет жертвой басурману!» —
 С мечом у горла, чуть живой,
 Прижат к могильному кургану,
 Хрипит истерзанный герой.
 И на дыбы, пылая злобой,
 Селенье с ревом поднялось:
 «Проклятый! Видит двери гроба,
 А не дается в жертву, пес!»¹
 И понемногу, словно жало,
 Ему вонзают в горло меч.
 «Пес будет...» — в горле клокотало,

¹ Кровная месть, убийство за убийство, — в обычае у всех горцев. Но зарезать врага на могиле и таким образом принести его в жертву — это обычай горцев-мусульман. Горцы-христиане избегают этого... Если обреченный не дрогнул перед смертью, он не считается принесенным в жертву покойнику. (Прим. Важа Пшавела.)

Пока дыхания хватало
И голова не пала с плеч.
Твердят в смущении кистины,
Забыв кровавый свой разгул:
«Смотрите, люди, в час кончины
Он даже глазом не моргнул!»

Жизнь угасает, кровь струится, —
Звиадаури умирал.
Но сердца храброго убийца
Не подчинил, не запугал.
И высока, и черноглаза,
От ужаса едва жива,
Следила из толпы Агаза,
Как покати́лась голова.
«На помощь!» — сердце ей твердило.
О, если бы найти топор,
Она б злодеев перебила
И пленника освободила
Сородичам наперекор.
Но разве женщине-кистинке
Власть над мужчинами дана?
И, удаляясь по тропинке,
Невольно думает она:
«Как сладко было той несчастной
Под кровом мужа своего,
Которая в ночи безгласной
Лежала на руке его!
Как тесно их сжимались груди
В полночный час! Не может быть,
Что и ее заставят люди
Теперь о муже позабыть!»

Нет, не достигли кисты цели,
Пронзая горло храбрецу,
Не удалось им, как хотели,
Обед состряпать мертвецу!
Не повезло им, басурманам!
Кинжалы сами рвутся вон,
Чтобы на теле бездыханном
Наделать множество окон.
Но сердце есть и у жестоких,

И каждый думает: «Грешно!»,
И уж сознание у многих
Неясной думой смущено.
И уж твердит народ понуро,
Спускаясь к зарослям реки:
«Кто б тронул этого хевсура,
Когда б не били нас враги?
Аллах свидетель, знаем сами,
Что совесть у него чиста, —
Он словно тигр боролся с нами
И за родные пал места.
Но нужно с недругом бороться,
И сколь он с виду ни хорош,
Кистинским мѳлодцам придется
Всадить ему под сердце нож!»

Ушли. И брошенное тело
Осталось на верху скалы.
Пусть рвут его собаки смело,
Пускай клюют его орлы!
«Коль повезло ему, собаке,
Коль жертвой стать не захотел,
Валяться в холоде и мраке —
Его заслуженный удел».
Так кисты меж собой галдели,
Пока в селенье не пришли,
И эхо каменных ущелий
Слова их множило вдали.

И вот опять завечерело,
Сошел с горы последний луч,
И тьма, подкрадываясь смело,
Заволокла вершины круч.
С неизъяснимою печалью
Глядит на кладбище утес,
Струя над немощною далью
Потоки медленные слез.
Печаль нужна могильной сени,
Останкам брата — плач сестры,
Ночному лесу — бег олений
И волчьи грозные пиры.

Прилична смерть на поле боя
Тому, чья держит меч рука,
Сраженью — торжество героя
И поражение врага.
Но кто здесь труп Звиадаури
Оплачет, выйдя на бугор?
Лишь ветра стон, да ропот бури,
Да грохот вод и вздохи гор!

Слезится легкий рой тумана.
Кистинка в чаше лозняка,
Роняя слезы неустанно,
Склонилась к водам родника.
Полна душевного смятенья,
Она скрывать не в силах дрожь,
Но плач ее ни на мгновенье
На вопль надгробный не похож.
Кто смеет пред лицом аллаха
Оплакать вражескую смерть?
Тот, кто пред ним не знает страха,
В мученьях должен умереть!
Односельчан она страшится,
Но сердце делает свое,
И смерть хевсура-несчастливца
Стоит пред взорами ее.
Коль не она, то кто сегодня
Оплачет витязя в глуши,
Чтоб позабыл он в преисподней
Страданья доблестной души?
Она склоняет очи долу,
Она не думает о том,
Что, может быть, ее Джохолу
Сразит сегодня тот же гром.

Безумная, о чем ты муже
Рыдаешь тут? Ты чья жена?
Тебе ж, несчастной, будет хуже!
Но поднялась, идет она,
Спешит, как серна молодая,
Оглядываясь в темноте.
Вот речка... вот гора крутая...

Вот спуск... а там, на высоте —
Безглавый труп! В изнеможеньи
Она бежит наверх, к нему,
И, опускаясь на колени,
Глядит в кладбищенскую тьму.
Глядит — и больше нету мочи,
Она увидела его,
И плачет, плачет в мраке ночи
Над телом гостя своего,
И, содрогаясь, отрезает
Волос безжизненную прядь,
И снова бьется и рыдает,
И на ноги не может встать.

Но что за шум на дне могилы?
Откуда этот смутный зов,
Откуда этот вопль унылый,
И плач, и ропот мертвецов?
Чьи это детские рыдания,
Невыносимые вдвойне?
Всеобщий крик негодованья
Встает пред нею в тишине:
«Бесчестная! Над чьим ты прахом
Рыдала тут? Над чьей душой,
О, будь ты проклята аллахом,
Обряд свершила гробовой?»
Она встает в смертельной муке,
Она бежит, а вслед за ней
Не мертвецы ли тянут руки
Из-за кладбищенских ветвей?
«Нет, ты не скроешься в селеньи,
Удрав от нас по-воровски!» —
Кричат ей скалы, и каменья,
И остролисты, и пески.
И вот поднялся из могилы
В тени безжизненных чинар
Кистин, когда-то полный силы,
Ее погибший брат Эбар.
«О, что ты сделала со мною,
Сестра моя, сестра моя!
Ужель могилую одну
Не мог довольствоваться я?

Зачем во мрак второй гробницы
Меня теперь столкнула ты?
Иль это подвиг для сестрицы,
Залог сердечной доброты?»

VIII

Она бежит на дно оврага,
Навстречу ей несется пес.
«Куда, проклятая собака?
Не смей взбираться на утес!
Ты чуешь мертвого, пролаза,
Но не тебе его терзать!»
И пса от кладбища Агаза
Спешит камнями отогнать.

Она несется по тропинке,
Внимая воплям с вышины,
И даже волосы кистинки
Упреков горестных полны.
И, подбежав к родному дому,
Где еле брезжил огонек,
Она, преодолев истому,
Переступила за порог.
Переступила и упала,
Как неживая, у дверей,
И то, что в сердце трепетало,
Теперь, увы, погасло в ней.

«О, горе нам! — вскричал Джохола. —
Добычей стали мы врага!»
И поднял он Агазу с пола
И положил у очага.
«Жена, — шептал он, — что с тобою?
Иль кто посмел тебя обнять?
Скажи, и я своей рукою
Глупца сумею обуздать.
Я приведу его в сознание,
Он, как Муса, обидчик мой,
Ответит мне за поруганье
Законов чести родовой!»

Нашупав рукоять кинжала,
Он ждал ответа от жены,
Но та в беспамятстве лежала,
И были очи смежены.
И только в полночь понемногу
Она очнулась и в слезах
Сказала мужу: «Слава богу,
Что не погибла я в горах!
Кто здесь осмелится в округе
Со мной бесчестно поступить?
Как имя доброе супруги
Мне после этого носить?
Я целый вечер по оврагам
Искала твоего коня,
И вдруг, окутанные мраком,
Напали дэвы на меня.
Один из них был с виду черен,
Зубаст, огромен, длинноух.
Ручищи страшные простер он
И закричал, нечистый дух:
«Иди, иди ко мне, Агаза,
Живи, красавица, со мной,
И все сокровища Кавказа
Открою я перед тобой!»
Я испугалась, побежала,
Он с воем кинулся вослед,
И вся земля вокруг дрожала,
Когда он мчался, людоед».

Джохола вымолвил с сомненьем:
«Ну что ж, возможно, был и он.
Но всё ж не этим привиденьем
Твой ум, Агаза, потрясен.
О чем ты плакала? Какую
Была тоской удручена?
И до сих пор передо мною
Ты вся в слезах, моя жена!
От моего не скроешь глаза
Своей души. Зачем же ложь?
Открой всю правду мне, Агаза,
Мне ждать, как видишь, неverteж!»

«Ты прав. И я перед супругом
Не утаю мои дела.
Я над твоим несчастным другом
Сегодня слезы пролила.
Мне стало жаль его, беднягу,
Он умирал в чужой стране,
Я видела его отвагу...
Что оставалось делать мне?
Ни друг, ни родственник случайный —
Никто его не пожалел,
Никто его печали тайной
Еще оплакать не успел.
И пред тобой, и пред аллахом,
Наверно, я свершила грех,
Но что поделаешь? Над прахом
Одна я плакала за всех...»

И с нежным трепетом печали
Она умолкла. И супруг,
Столь недоверчивый вначале,
Перед женой склонился вдруг:
«Где вижу лишь одно добро я,
Мне не пристало быть судьей.
Оплакать мертвого героя
Прилично женщине любой».

IX

При первых проблесках денницы
Овец Агаза погнала.
Над кладбищем кружились птицы,
И тень огромного орла
Витала в небе. Проливая
Потоки горестные слез,
Спешит кистинка молодая
Тропой подняться на утес.
И вот высоко над могилой
Она стоит среди камней,
И, испуская крик унылый,
Зловещий коршун длиннокрылый
Кругами реет перед ней,

Скрывая горестное пламя
Солнцеподобного лица,
Она бросает в птиц камнями
И гонит прочь от мертвеца.
Потом сидит в густом кизиле,
Как будто вяжет там чулок, —
Хитрит, чтобы ее усилий
Никто заметить здесь не мог.

Х

Дошли до Бисо злые вести —
Как будто гром прогрехотал:
«Звиадаури жертвой мести,
Добычей вражескою стал!
Могучий столп, сошедший с неба,
Пшаво-хевсурский славный щит
Истерзан кистами свирепо,
Обезоружен и убит!»

И мать его завывала глухо,
И люди вздрогнули в селе.
«Зачем я здесь жива, старуха?
Предайте и меня земле!
Верните мне его десницу,
Чтоб в час кончины сын родной
Похоронил меня, вдовицу,
И холм насыпал гробовой!»
И опечалены и хмуры,
Услышав горестную весть,
Толпились мрачные хевсуры
И говорили там и здесь:
«Да будет славное надгробье
Пока оплакано вдали!»
И жиром смазанные копья,
Готовясь к подвигам, несли.

И к утру воинство готово.
Блестят кольчуги и шелом.
Ни для кого в селе не ново
Сражаться с вражеским селом.

Кричит хевсурам Апарека:
«Берите пищи на семь дней!» —
«Кто здесь не трус и не калека,
Кто честью дорожит от века,
Все до едица человека
Кончайте сборы поскорей!» —
Так говорит Бабураули,
Кистинам издали грозя. . .
Их крики землю всколыхнули.
Да, это не свирель, друзья!

XI

«Проснись, Джохола, встань с постели.
Довольно спать у очага!
На наши горы и ущелья
Напало скопище врага.
Желают гости поединка,
Хотят с земли героев смечь,
Чтоб пожалела мать-кистинка
О том, кого качала здесь.
Давно мечтая о набеге,
Они на наш напали скот.
Теперь на подступы к Джареге
Ватага буйная идет.
Не медли, витязь! Уж кистины
Торопятся навстречу к ним.
Вставай и будь, как все мужчины,
С мечом в руке непобедим!»

«Идти с кистинами? Но кто же
Меня допустит к ним, чужак?
Сражаться должен я, похоже,
Один, как перст, за свой очаг.
Пусть они увидят, боже,
Кто друг Кистетии, кто враг!
Меня изменником считают,
Меня отступником зовут.
Глупцы в селеньи полагают,
Что я врагам проданся тут, —

Меня при жизни погребают,
Плиту мне на сердце кладут!»

И удалец надел кольчугу
И опоясался мечом,
Кремневку, верную подругу,
Привесил с боку за плечом.
Кистину шлем в бою не нужен —
Он с обнаженной головой,
Заветам дедовским послушен,
Идет, как лев, в смертельный бой!

ХИ

И вот хевсурская дружина,
Знамена выставив вперед,
Стремительная, как лавина,
Уже спускается с высот.
Спешит на кладбище глухое
Собрать останки мертвеца,
Грозит мучителям героя
Ножами вырезать сердца.
И вдруг на подступах в ущелье
Раздался выстрел. Так и есть!
Враги, незримые доселе,
Устроили засаду здесь.
В седые камни пуля бьется,
Борьба в ущелиях трудна.
Стон, вопли... Яростно дерется
И та и эта сторона.
Эх, много выпили вы, пули,
Невинной крови над ручьем!
Оставив родичей в ауле,
Врага бы кисты отпугнули,
Но в этот миг Бабураули
На них набросился с мечом.

И вот взвилось сиянье стали,
Щит открывает путь клинку,
Хевсуры рвутся дале, дале,
И бьют, и рубят на бегу.

Эй, шит, не изменяй железу,
Железу в битве ты родня.
Гоните басурманов к лесу!
Но что ж замедлилась резня?

Из-за скалы в разгар сраженья
Кистин с открытой головой,
Как яростное привиденье,
С мечом в руке ворвался в бой.
Дивятся юноши в засаде —
Кто это рубит там сплеча?
Его не видели в отряде
И не признали сгоряча, —
Ужель Джохола? Он, проклятый!
Один, в пороховом чаду,
Великой яростью объятый,
У всех он бился на виду.
Глядят кистины на героя,
Поражены, изумлены,
Но вокруг него кольцо стальное
Смыкают недруги страны.
Он падает, он умирает,
Мечом сраженный наповал,
И по груди его гуляет
Хевсура яростный кинжал.

Что ж, опечалились кистины?
Ничуть! «Убили поделом!
Он издевался над общиной,
Равнял себя со всем селом.
Он не хотел считаться с нами,
Он в битву кинулся один,
Чтоб осрамить перед врагами
Своих сородичей-кистин!»

Лежит герой, врагами брошен,
Один на выступе скалы.
Хевсуры рвут клинки из ножен,
Хватают ружья за стволы.
Удар меча пронзает груди,
Несется к небу гул щита.

Кистины дрогнули, и люди
Бегут, спасаясь, в ворота.
Но, оттесненные в жилище,
Они уже не страшны тут.
И вот хевсуры на кладбище
Толпой нестройною бегут.
Здесь, на неведомом погосте,
Средь неприятельских могил
Лежат разбросанные кости
Того, кто их героем был.
Сложив в хурджин останки тела,
Хевсуры двинулись домой.
Всё то, что в сердце накалило,
Они вложили в этот бой!
Осуществились их желанья —
Они угнали скот врага
И вражьей кровью в наказанье
Омыли скалы и луга.
Родные кости на чужбине
Они собрали по частям
И, как великую святыню,
Несут к отеческим местам.
Пускай мертвец к родному краю
Свой совершит последний путь,
Чтобы семья могла, рыдая,
Героя с честью помянуть:
Не дешева она, родная,
Слеза, упавшая на грудь!

ХІІІ

«Эй, причитальщица гяура!
Ты крики слышала резни?
Твой муж убит рукой хевсура,
Оплачь его и схорони.
Уж ворон каркает над телом,
Уж треплет ветер смоль волос».

«Пусть так же враг на свете белом
Живет, как мне теперь пришлось!

За что, как будто от проказы,
Как от смертельного огня,
Все отвернулись от Агазы,
Все отшатнулись от меня?
Я на утесе схоронила
Сегодня мужа моего, —
Община мне не разрешила
Снести на кладбище его.
Сказали: «Муж твой был изменник,
Он жил как пес в родном краю.
Чтоб ликовал иноплеменник,
Общину предал он свою.
Ему не место на погосте,
Пускай лежит он, где подох,
Пусть о своем горюет госте,
Коль для него он был неплох!»
О, горе мне! Душа, пылая,
Горит в беспламенном огне,
Непостижимых мыслей стая
И ум и сердце давит мне!»

Склонясь, подобно нежной лани
И черноглаза и стройна,
Убитого на поле брани
В тот день оплакала жена.
Слезой жемчужной на прощанье
Омыла грудь ему она.

XIV

И ночь, и буря. С дикой силой
Бушует ветер у ворот.
О боже, путников помилуй
И не губи своих сирот!
Сам всеблагий и всемогущий,
О тех, кто слаб, не позабудь,
Пусть вопль их розою цветущей
К тебе опустится на грудь.
Но, коль тебя не тронет роза,
Прими их души, о творец!

Замолкни, гром, промчись, угроза,
Развейся, туча, наконец!

Река ревет, волна играет,
Водоворот кипит ключом.
Пучина злобная рыдает,
Сама не ведая о чем.
Она глуха к людским страданиям,
Ей непонятен страх могил,
Но нет конца ее рыданиям
И смех ей кажется немил.

Бушует ветер в буреаке,
Несет с утесов клочья мглы,
Но женщина стоит во мраке
И смотрит в бездну со скалы.
Ей ветер волосы вздымает,
Пугает холодом ледник.
Звездой ущербною мерцает
Ее дрожащий бледный лик.
Склонясь над бурною рекою,
Она глядит, потрясена.
О, как ужасен шум прибоя,
Как воеет злобная волна!
Гудит ущелие ночное,
Раздвинув челюсти до дна.

О, кто во мраке этой ночи
Ее удержит? Кто поймет?
Никто! Она закрыла очи
И бросилась в водоворот.
Скрывая в сердце лютый пламень,
Зачем ей жить среди людей?
В Кистетии последний камень,
И тот отныне недруг ей!
Жена и муж, не оба ль сразу
Они запятнаны грехом?
Не подчинился он приказу,
Она — рыдала над врагом...
И унесла река Агазу,
Смешала с илом и песком.

ХV

В глухую полночь, на вершине,
Где вечным сном Джохола спит,
Виденье чудное доньше
Случайным взорам предстоит.
Над одинокою могилой
Взывает призрак мертвеца:
«Звиадаури, брат мой милый,
Что не покажешь ты лица?»
И с отдаленного кладбища,
Во мраке ночи строг и хмур,
Покинув скорбное жилище,
Встает замученный хевсур.
Блестит оружие боевое,
Скрестились руки на груди...
Он молча чувствует героя,
И на скале, где встали двое,
Встает Агаза позади.

И вот среди вершин Кавказа
Мерцает зарево костра,
И снова трапезу Агаза
Готовит братьям, как сестра.
Сквозь сумрак ночи еле зрими,
В сияньи трепетных огней
Ведут беседу побратимы
О дивном мужестве людей,
О дружбе, верности и чести,
Гостеприимстве этих гор...
И тот, кто их увидел вместе,
Не мог насытить ими взор.

Но, предначертан волей рока,
Непроницаемый для глаз,
Туман, как черная морока,
Скрывает витязей от нас.
Встает он пологом заклЯтым
Над очарованным холмом,
И не разбить его булатом,
И не рассеять волшебством.

Шумит река в теснине черной,
Ущелье, кашляя, хрипит,
И лишь пиримзе, цветик горный,
В пучину бездны непокорной,
Головку вытянув, глядит.

1893

ОЛЕНЬЯ ЛОПАТКА

I

Лил дождь, трепетала зарница.
По горному склону стремглав
Потоков неслась вереница,
Траву и кустарник измяв.
Ворочая с громом камня,
В ущелиях воды режут.
Не горы, а столпотворенья
Из черного мрака встают.
Скала на скалу насаждает,
На гору влезает гора,
Река, словно зверь, завывает
И плачет внизу до утра.

И только средь темных орешин
Утес в одеяньи простом,
Как девушка юная, нежен
И грозен, как витязь Ростом.
Там бродят в трущобах медведи,
Живут там кабан и олень.
Охотник там множество снеди
Находит в удачливый день.
Но нет ни дорог там, ни хижин,
И необитаем утес,
И только струится, чуть слышен,
Источник, прозрачнее слез.

И дождь, упadaющий косо,
О листья растений звенит,
И речка у края утеса
Ревет, омывая гранит.

Там волки не воют в трущобе,
Не брешет во мраке лиса,
Сова, сотрясаясь в ознобе,
Не плачет на все голоса.
И туч исчезают скопления,
И звезд появляется рой.
Покрытые влагой растенья
Недвижно стоят над землей.
И возле костра небольшого,
Красив и приятен на вид,
Оставшийся на ночь без крова
Какой-то охотник сидит.
Он съежился, вымокнув за день,
Поник у костра своего.
Игрою сверкающих пятен
Огонь освещает его.
На левом боку несчастливца
Охотничья сумка видна,
Красивая пороховница
Отделана костью слона.
Кремневка приставлена к буку,
На поясе блещет кинжал. . .
Внимательный к каждому звуку,
Охотник курил и дремал.
И думал сквозь тонкую дрему,
Как завтра добычу найти.
Ужель суждено ему к дому
С пустыми руками идти?

Весь день по горам он скитался
И еле уж ноги волок,
Но живности, как ни старался,
Добыть на охоте не мог.
Два раза, подкравшись к оленям,
Стрелял он в животных, но те,
Подобно стремительным теням,
Скрывались в лесной темноте.

Кабаны паслись в буреломах —
Он выстрелил несколько раз.
И снова за промахом промах,
И брызнули слезы из глаз.
Он в голову бил кулаками,
Был мерзок себе самому...
Теперь, понимаете сами,
Не очень-то сладко ему.

II

«Эй, братец!» — слышался голос.
Охотник глядит — никого.
И дыбом становится волос
От страха под шапкой его.
«О боже, спаси и помилуй,
Ломисского раб я Креста!
Как видно, нечистая сила
Пугает меня неспроста».
А голос: «Не бойся, бедняга,
Не бес я, не демон лесной.
Клянусь, не во зло, но во благо
Пойдет эта встреча со мной.
Спускайся скорее в ущелье,
Не мешкай, не сбейся с пути.
Мне нынче на праздник велели
С собою тебя привести».

Неужто пришлец не лукавил?
Был Баляя бледен еще,
Но встал он, кинжал свой поправил,
Закинул ружье за плечо.
«Ну, что ж ты шевелишься еле?
Идешь ты или не идешь?» —
«Иду, хоть меня бы и съели!
Пускай пропаду ни за грош!»
И Баляя, полон отваги,
На голос ночной зашагал,
И долго блуждал он в овраге,
Цепляясь за выступы скал.

Вдруг роща пред ним зашумела.
«Эй, кто тут?» — он крикнул во тьму.
«Иди под деревьями смело», —
Ответили рядом ему.

III

Поднялся он вверх по тропинке,
Подъем одолел без помех,
И вдруг из соседней ложбинки
Послышался говор и смех.
Глядит он — большая поляна
Огнями вокруг убрана.
Красива и благоуханна,
Вдали распростерлась она.
И как он ее не заметил,
Скитаясь по этим местам?
Струится, прозрачен и светел,
Источник серебряный там.
На ветках из чистого лала,
На стеблях из яхонта, в ряд,
Как радужные опахала,
Цветы над поляной висят.
К деревьям прилеплены свечи,
Их пламя встает до небес.
Свои благодатные речи
Ведет очарованный лес.
И толпы различного люда
Уселись вокруг на траву.
Охотник подобного чуда
Не видел еще наяву.
«Охотник, забудь про охоту,
Присядь поскорее за стол!»
И взял его за руку кто-то,
И вмиг на поляну привел.
Его на ковре усадили,
Поставили кубок вина,
И разная дичь в изобилии
Собранью была подана.
Охотник вино выпивает.
Глаза поднимая, глядит, —

Девушка пред ним восседает,
Стройна и прекрасна на вид.
Как молния, светятся взоры,
А волосы — синяя мгла...
«О дети, Великие Горы
Зовут вас к началу стола.
Вкушайте, что подано, с миром!
И ты, наш возлюбленный гость,
Будь весел за дружеским пиром,
Но помни, что каждую кость,
Которая в долю досталась,
Ты бережно должен хранить.
Живому ведь каждая малость
Нужна, коли надобно жить!»

IV

Дождавшись урочного часа,
Все гости взялись за еду.
Здесь поровну делится мясо,
И каждый имеет в виду:
Чтоб были в сохранности кости
И дева довольна была —
Собрать их обязаны гости
Пред ней на средину стола.
И каждый здесь полною чашей
Торжественно пьет за того,
Кто правит вселенною нашей,
За мудрость и силу его;
Здесь пьют плодородье земное —
Отраду счастливых сердец,
И, радуясь мысленно вдвое,
За девушку пьют наконец.

Но не подчинился порядку
Охотник за общим столом, —
Обгрыз он оленью лопатку
И бросил в источник тайком.
Столпились пред девушкой гости,
Окончив обильный обед.
Считают — в сохранности кости,
Оленьей лопатки лишь нет.

Куда провалилась лопатка,
По чьей потерялась вине?
Охотника бьет лихорадка,
Мурашки бегут по спине.
«Ну, — думает, — если узнают,
Навалятся целой толпой,
На части меня растерзают,
Могильной засыплут землей».
А гости из старой осины,
Чтоб выполнить древний обряд,
Подобье лопатки звериной
Уже перед ним мастерят.
И деве своими руками
Принять деревяшку пришлось,
И вместе с другими костями
Ее засчитали за кость.
И дева обломком кинжала,
Который как солнце горел,
На каждой кости начертала
Животных грядущий удел.
«Весною, когда ежевика
В соседнем лесу расцветет,
Искусный охотник Чолика
Пусть этого зверя убьет».
«Когда к водопою в июле
Приблизится этот самец,
Берика свинцовою пулей
Уложит его наконец».
«Пусть этого свалит Беридзе
У скал, где темнеет ивняк.
На празднике повеселиться
С семьей достоин бедняк».
Так дева на каждой костяшке
Писала о судьбах зверей.
Подходит черед деревяшке.
Чье имя напишут на ней?
«Под звуки оленьего клича
В осенний и пасмурный день
Пусть Балии снова в добычу
Достанется этот олень».
Счастливая выдалась шепка!
Пошло приключение впрок!

Запомнился Балии крепко
Назначенный девушкой срок.
И вот на костяшках звериных
Написаны сотни имен,
И пусто в огромных кувшинах,
И клонит охотника в сон.
Заснул на поляне он сладко,
От долгих скитаний устав.
Природа во имя порядка
На всё свой имеет устав.

Луч солнца — душа человечья —
Горит на вершине горы.
Летит ветерок издалече,
Волнуя растений ковры.
Проснулся охотник — и что же?
Нигде не заметно костра,
Поляна совсем не похожа
На ту, что он видел вчера.
Ни девушки нет, ни народа,
Источник куда-то исчез,
В гирляндах цветов к небосводу
Волшебный не тянется лес.
Вздывает обычные кроны
Обычный лесной косогор,
И белокопытник зеленый
Цветет здесь, и дикий копер.
И мост из листьев ежевика
Над самым обрывом мостит,
И в чаще от птичьего крика
Весь воздух поет и звенит.
И перлы росы умывают
Лесных сладкопевцев лицо,
И травы друг друга лобзают,
И к деревцу льнет деревцо.
Как мать над своими птенцами,
Храня их от бурь и тревог,
Порхает, вясь, над цветами
Прохладный лесной ветерок.
И вновь расцветают растенья,
Роняя росинки с листа,

И счастьем любви и смиренья
Их свежие дышат уста.
И в виде большого дракона
Туман у подножья горы
На горы глядит полусонно,
Вздымая седые вихры.
Но горы, как будто для песен,
Спокойно расселись вокруг,
И круг их возвышенный тесен,
И выпуклы мускулы рук.
«Будь тверд и разумен на деле», —
Твердит человеку гора,
И каждое дышит ущелье
Дыханьем любви и добра.
Кто силы на это затратил?
Кто создал природу такой?
Невидимый в зарослях дятел
Чинару долбит за рекой.
Поднялся орел в отдаленьи,
Парит посредине небес.
И сладкому птичьему пенью
Внимает проснувшийся лес.
И смолкла река понемногу,
Забыв про вчерашний разгул,
И молится Балия богу, —
Он выспался и отдохнул.
Глубоко он в сердце скрывает
Всё то, что увидел вчера,
И трубочку он зажигает,
И к дому шагает — пора!
Пора! Но уж тайну ночную
Он будет таить ото всех:
Болтать о виденьи впустую —
Большой, разумеется, грех.

v

«Ну, Балия, где ты шатался,
Быть может, напрасно ходил?
Каких ты чудес навидался,
Какие места посетил?» —
Так Балию старый и малый

Расспрашивал жадно, но он
Едва отвечал им, усталый,
Боясь заикнуться про сон.
«Я, люди, врагу не желаю
Того, что случилось со мной!
Немало по нашему краю
Скитался я в чаще лесной;
Немало я видел оленей
И к богу нередко взывал,
Но, как ни стрелял, к сожаленью,
Ни разу я в цель не попал.
Случиться без воли господней
Такие не могут дела,
Затем и святыня сегодня
Ничем мне помочь не могла».
А сам про себя размышляет:
«Настанет назначенный срок, —
Увидите, как он стреляет,
Ваш Баляя, старый стрелок!»
Но Гигия Мартиашвили
Сказал, притулясь у стены:
«Не руку ли заворожили
В деревне тебе колдуны?
А может быть, заколдовали
Кремневки прицельную часть?
Тогда, как ни целься, едва ли
Сумеешь ты в зверя попасть.
Появятся бесы, русалки,
Туманом закроют прицел...
Сходил бы ты, братец, к гадалке
Да в воду ей глянуть велел.
Такая со мной небылица
В лесу приключалась не раз:
То цель начинала двоиться,
То просто скрывалась из глаз.
Не кровь ли ты пролил собачью?
Не бил ли котов и ворон?
Иди погадай неудачу,
Не лезь сгоряча на рожон».

Охотник, подумав исправно,
Ответил на этот вопрос:

«И верно, под пулю недавно
Попался мне бешеный пес». —
«Как? Эту собаку Доджури?
Ее ты прикончил, чужак?
Коль так, то по собственной дури
Попался ты нынче впросак!»

Задумался Баляя крепко,
Сносил к ворожейке ружье, —
Когда появилась зацепка,
Нельзя забывать про нее.
А тут и дела подступили,
Страда в деревнях нелегка,
И осень, пора изобилья,
Еще далека, далека. . .

VI

И вот наконец наступила
Оленьего крика пора.
Самец, быстроногий верзила,
Кричит на опушке с утра.
Покрыта кустарником тонким,
Опушка гудит, и на ней
Олень, словно мать над ребенком,
Взывает к подруге своей.
Обрадован Баляя криком, —
Таит он надежду в душе.
Олень в нетерпении великом
Ломает кустарник уже.
На свист не похож соловьиный
Призыв обитателя скал, —
Волнение страсти звериной
Ужасно, как горный обвал.
Неслышной подкравшись стопою,
Охотник стоит недвижим.
Рога распластав над землею,
Бушует олень перед ним.
Охотник прицелился ловко,
Нажал не спеша на крючок.
Но что приключилось с кремневкой?
Ни с места проклятый курок!

Вдруг в воздухе загрохотало —
Послышался выстрел вдали.
Олень покачнулся сначала,
Коснулся рогами земли,
Потом он упал на колени,
Не в силах он на ноги встать...
В предсмертном своем иступленьи
Не хочет герой умирать!

Охотник глядит, удрученный
Такой неудачей своей.
Чуть дышит олень обреченный,
Упавший под сенью ветвей.
Глазами он ищет подругу,
Ответа возлюбленной ждет,
Чтоб с нею, покинув округу,
Добраться до горных высот.
Чтоб с нею в далекой отчизне
Единой любовью гореть...
Зачем мы так преданы жизни?
Зачем ненавидим мы смерть?

Достоин он был сожаленья,
Питомец возвышенных скал!
Без радости, без утешенья
Он с пулей в боку умирал.
И витязь какой-то из чащи
Явился, исполненный сил,
И мигом кинжал свой блестящий
В оленью он горло всадил.
Отрезал он голову зверю
И тушу свежует его...
Кто б, видя такую потерю,
Не проклял себя самого?

VII

Врагу пожелать не могу я
Того, что, сраженный судьбой,
Об этом олене тоскуя,
Почувствовал Баляя мой!
Из чащи лесной он выходит,

Угрюм, опечален, сердит,
Охотника взглядом обводит
И, руку пожав, говорит:
«Откуда ты, братец мой, взялся?
За что ты меня погубил?
Я первый к оленю подкрался,
Я первый его уследил.
Поднявшись ползком на пригорок,
Навел я на зверя ружье,
Вдруг выстрел... И ты, словно ворог,
Явился на горе мое». —
«Напрасно твое удивленье!
Коль в зверя сумел я попасть,
Должно быть, от туши оленьей
И мне предназначена часть.
Давай же, покончив с добычей,
Разделим ее пополам.
Отцов соблюдая обычай,
Не следует ссориться нам».

Разумное выслушав слово,
Что Баля мог возразить?
В обычае у зверолова
С друзьями добычу делить.
Нахмурившись, Баля злится,
Без лишних работает слов.
Один только раз у счастливица
Спросил он: «А кто ты таков?» —
«Цицила я из Бодбис-хеви», —
Ответил охотник. И вдруг
Вдали затрещали деревья
И выскочил кто-то на луг.
Олень, потрясая рогами,
Нарвался на них невзначай.
«Ну, братец, не хлопай глазами, —
Воскликнул Цицила, — стреляй!»
Прицелился Баля в зверя
И выпустил пулю в упор.
Глазам своим бедным не веря,
Глядит он — о, стыд и позор! —
Промазал!.. Стремительный топот —
И скрылся олень из очей,

И громкий послышался хохот
В дубраве, неведомо чей.

Эх, Баляя, Баляя! Мошка
Коль срок не пришел, не умрет!
Однажды случилась оплошка,
А сколько с оплошкой хлопот!
Стоит он и смотрит уныло,
Смущенный несчастьем своим.
Но где ж бодбисхевец Цицила?
Цицилы уж нет перед ним!
Олень с полусодранной шкурой
Лежит неподвижно у ног.
Задумался Баляя хмурый:
Куда же девался стрелок?
«Цицила, не время смеяться!
Довольно шутить! Выходи!»
Следов не осталось от братца, —
Лишь ветер шумит впереди.
На дерево Баляя лезет,
Охотника сверху зовет, —
Ни звука... Неужто он грезит?
Ужель померещился тот?

Луч солнца с вершины отрога
В ущелье скользит, как стрела.
Решил мой охотник: «От бога
Все эти исходят дела.
Что будет, то будет, но всё же
Ни звука об этом ни с кем!
Кто ропщет на промысел божий,
Тот будет погублен совсем.
Ты, боже, болтливого с корнем
Как сорную вырвешь траву.
Смирюсь перед промыслом горним,
Покуда на свете живу!»

VIII

Наутро село загалдело,
Из хижин посыпался люд.
Какое-то важное дело
Случилось, наверное, тут.

И жены, и дети, и мужи
Торопятся к Балии в дом.
Сам Балия вертится тут же
Во всем снаряженьи своем.
Огромный, могучий, безглавый,
Распластан олень у ворот.
Рога головы величавой
Дивят красотой народ.
Мужчины, вступая в беседу,
Добычу спешат разглядеть.
«Пошли тебе боже победу
Таковую же славную впредь!
В какое ходил ты ущелье?
Где зверя, герой, подстерег?
С таким великаном на деле
Не каждый бы справиться мог!»

И тут мой герой плутоватый
Решил приукрасить рассказ:
«Замучил меня он, проклятый,
Два раза скрывался из глаз!
За ним, как безумный, я мчался,
Летел я, как птица, вперед.
Едва со скалы не сорвался, —
Оставил бы дома сирот.
Не чуя земли под ногами,
Бегу я и вижу — медведь!
Стоит и швыряет камнями,
Дубиною хочет огреть!
И выстрелил я поневоле,
И рухнул он кубарем вниз,
И так заревел он от боли,
Что птицы с деревьев взвились.
Я дальше. Опасность почуя,
На хитрость пустился рогач:
Едва подобраться хочу я —
Он в сторону бросится вскачь.
Но тут уж мне было, конечно,
Прикончить его нипочем.
Ущелье, где пал он, сердечный,
Бедамским зовется Ключом». —

«Ты, Баля, впрямь молодчина!
Хвала тебе, братец, и честь!
Из ста человек ни единый
С тобой не сравняется здесь!»
Рекой полились славословья,
Но сказ мой не кончен еще.
На туше вблизи изголовья
Лежало оленье плечо.
И, к общему вдруг удивленью,
Из мякоти этой мясной
Скользнула лопатка оленья,
Как спелый орешек лесной.
Никто не касался дотоле,
Не трогал никто рогача, —
Казалось, по собственной воле
Упала она из плеча.
И смолкли вокруг разговоры,
Толпа расступилась, глядит:
Охотник, потупивший взоры,
Над нею, как мертвый, стоит.
И вдруг побежал без оглядки
И скрылся за дверью. . . Народ,
Дивясь деревянной лопатке,
В испуге стоит у ворот.
И кто-то кричит у порога:
«Куда ты девался, герой?
Скажи, если веруешь в бога,
Что там приключилось с тобой?» —
«Не знаю! Мне больно, мне тяжело!» —
Послышался стон изнутри.
«А кто смастерил деревяшку?
Что значит она, говори!» —
«Не знаю! Берите оленя,
Довольно мне душу терзать!
Обманут я, нет мне прощенья,
Зачем родила меня мать!»

Но дело клонилось к разгадке —
Пока он вопил сгоряча,
Народ прочитал на лопатке:
«Не он подстрелил рогача».
И люди, лукавца ругая,

Признательны были судьбе:
На свете неправда любая
Заявит сама о себе.
Ничто не останется втайне,
Откроется всё под конец,
И чем был порок не случайней,
Тем будет несчастнее лжец.

Забросил охоту охотник,
Любимое продал ружье.
«Коль я, — говорит, — греховодник,
То не для меня и зверье!»

1895

КРОВНАЯ МЕСТЬ

(Из черкесской жизни)

I

Когда румяным утром мая
Цветут на небе облака,
Семейства гор, чадру снимая,
Глядят на нас издалека.
Глядят сурово, равнодушно,
Не успокоенные сном,
И только ветер непослушный
Жует их бурки свежим ртом.
И только дышит медуница,
Обняв черники нежный куст.
Само бессмертие струится
Из благовонных этих уст.
Но скал угрюмые вершины
Безмолвствуют над лоном рек
И не свергаются в пучины,
Как будто спаяны навек.
Не слышат, как со дна долины
Поет им славу человек.

О горы! Сердце замирало,
Когда я видел вас вдали!
Душа бессильная роптала,
Но мною вы пренебрегли, —
Не поделились вы нимало
Со мной могуществом земли!

О вы, извергнутые в кашле,
Ручьи, звенящие у ног!
С высот родительских не ваш ли
Спадает в пропасти поток?
Насытись влажными сосцами
И навсегда покинув мать,
Вы с неба ринулись столбами,
Чтоб нас, убогих, напитать.
Блестят глаза, свежеют лица,
В любом селеньи стар и мал
С кувшином глиняным стремится
Собрать живые слезы скал.

Но в этот миг, когда в долине
Смеетесь вы, — вершины гор,
Блуждая взором по пустыне,
Ведут о детях разговор.
Никто их скорби не излечит,
Лишь ветер, спутник их обид,
Как над высоким дубом кречет,
В трубу неистово трубит.

II

Пугая топотом и свистом
Растенья, спящие у ног,
По горным тропам каменистым
Спешит неведомый ездок.
Скакун его в краю скалистом
От долгой скачки изнемог.
Но плеть ударила с размаха,
И конь пошел во весь опор,
И, сдвинув потную папаху,
Ездок взлетел на гребень гор,
И прошептал хвалу аллаху,
И опустил в долину взор.
Внизу — родимое селенье,
Желанный сердцу, чудный вид!
Ликуя, в радостном волненьи,
Селом любитесь джигит:
Не только люди — всё творенье
Свой край родной боготворит.

Исполнив замысел кровавый,
Не зря скитался житель скал.
Клинок его увенчан славой,
И весь в крови его кинжал.
Недаром он, воитель бравый,
Сегодня щит с собою брал.

Черкесу было чем гордиться:
Теперь к луке его седла
Врага убитого десница
Ремнем привязана была.
Он не сказал еще ни слова
В селе о подвиге своем,
Но знает — дарят удалого
Конем, оружием, серебром.
Ездок мечтает о награде,
Он оказался лучше всех.
А что убил он долга ради —
То не считается за грех.

III

И вот владенья Аслан-бека:
Дворец и крепость. Среди людей
Черкесский бек слывет от века
Как лютый хищник и злодей.
Враждою занят неустанной,
Ни с кем он в мире не живет
И сам от злобы постоянной
Чернеет ликом каждый год.
Есть даже слух, что, окаянный,
Он предал свой родной народ.

Владея тучными стадами,
С утра до ночи бек Аслан
Умело борется с врагами,
Кидая издали аркан.
За исключением кончины,
Он не боится ничего.
И не постигнуть нам причины
Несытой жадности его.

Он — властелин страны черкесов,
Подвластны беку их края.
Его лихих головорезов
Страшится каждая семья.
Лишь Кичирбей, питомец барса,
Не хочет бека признавать.
Уж сколько раз Аслан пытался
Его схватить и покарать!
Бывало, вынесутся кони,
Ватага преданных людей
Помчится в бешеной погоне,
И цель близка, как на ладони, —
Но ускользает Кичирбей!
Аслан безумствует и злится,
Аслан убийц наемных шлет,
Но лишь появится убийца,
Мятежник снова изловчится —
Пырнет кинжалом и уйдет.

Немало дел у Кичирбея:
Несокрушимый, как гранит,
Он всюду ходит не робея.
Как брат со всеми говорит:
«Зачем вы, люди Аслан-бека,
Надели рабское ярмо?
Ужель достойно человека
Терпеть невольничье клеймо?
Неужто любы вам расправы?
Иль вам свобода немила?
Что лучше: жалкие забавы
Иль молодецкие дела?
Что краше: пасть на поле славы,
Иль выть с мечети, как мулла?»

Меж тем ездок, его убийца,
Который был описан мной,
С далеких гор к Аслану мчится,
Любуясь мертвою рукой.
Ему куда неизвестно,
Что даром горы он топтал,
Что не того убил бесчестно,
Кого в ущелиях искал.

Демур уверен: враг в могиле.
Но жив и весел Кичирбей!
Сломить железо змей не в силе,
Напрасно жало точит змей.

IV

Вечерний день смежает очи,
Подул холодный ветер с гор.
Вершина солнечная к ночи
Надела траурный убор.
Заботы, скорби и волненья
Не сокрушат ее чела.
Святая сила провиденья
Ее бессмертью обрекла.

Гнездо отваги соколиной,
Черкесской вольности приют!
Как много дивною вершиной
Героев выращено тут
Во имя славы благородной,
Во исцеленье тяжких ран. . .
О, чьи уста дерзнут бесплодно
Хулить орлиный этот стан!

Усталый всадник под скалою
Коня у сакли осадил,
Не помолился над водою,
Лица с дороги не умыл.
Как гордый месяц на утесе,
Прекрасен он на склоне дня.
«Эй, кто там! — крик его пронесся. —
Возьмите, женщины, коня!»

Итак, пора услышать миру,
В каком скитался он краю,
Как руку он отсек Кичиру,
Задачу выполнив свою,
Вот какова его работа!
Пускай дивится весь народ,
Когда ему венок почета
Аслан на притолку прибьет!

И вот из двери появилась
Черкешенка, подняв чадру.
То не роса ль засеребрилась
На свежей розе поутру?
Иль то запела куропатка,
Гнездясь на горной вышине?
Иль то птенец, уснувший сладко,
Прижался к соколу во сне?
Иль это дивный светоч рая
На небе вспыхнул горячо?
Иль шашка острая, играя,
Легла герою на плечо?
Иль то из моря грозового
Взвилась мятежная волна?
Для сердца витязя любого
Безумье сладкое — она!

Она берет коня, кольчугу,
Глядит, как спешился ездок,
Из уважения к супругу
Стоит безмолвно, как цветок.
И лишь заметив хлопья мыла
На тонкой шее скакуна,
Звезда небес, заговорила
Печальным голосом она:
«Зачем ты мечешься, бесстрашный,
Коня и жизнь свою губя?
На что тебе Кичир отважный?
Что он похитил у тебя?
Немало вас за ним гонялось,
Охотясь за его рукой,
А что, скажи мне, получалось?
Ведь не один же ты такой!» —
«У бабы только волос долог,
А ум висит на языке.
Коль вас послушать, балаболок,
Всю жизнь проспийшь на тюфяке!»

Тут сын соседский подвернулся,
Востряк безусый: «Эй, сосед,
Что поздно до дому вернулся?
Со славой прибыл или нет?» —

«Убил». — «Да что ты? Неужели?
Где ж он попался, не пойму?» —
«Зарезал сонного в постели,
Сквозь крышу дома влез к нему.
Он услышал, но я кинжалом
Успел по горлу полоснуть,
И кровь его потоком алым
Из раны хлынула на грудь.
Едва старуха завопила,
Я — в дверь, и тотчас на коне
Через селенье что есть силы
Помчался в мертвой тишине.
Летел мой сокол по отрогу,
Я не щадил, я гнал коня.
В селеньи подняли тревогу,
Да поздно! Где им до меня!
Отрезал кисть я нечестивцу,
Вот знак, что правду я сказал!» —
И на кровавую десницу
Демур с усмешкой указал.

Жена в испуге отшатнулась,
Лицо закрыла, не глядит,
И лишь соседу приглянулась
Добыча, страшная на вид:
«Смотри, как дело повернулось,
Теперь ты будешь знаменит!»

«Эх, люди, — женщина сказала, —
Неужто есть у вас сердца?
Всё кровь да кровь, и всё вам мало,
И всё б вам резать без конца!
Я вся от страха задрожала,
Увидев руку храбреца».

«Что ж, поступил я, значит, плохо?
Иль я, по-твоему, злодей?
А сколько рук, сочти, дуреха,
Поотрубал нам Кичирбей?
Не вы ли, женщины, рыдали,
Качая маленьких сирот?»

Теперь отведасть острой стали
И для него пришел черед.
Коль он ценил всего дороже
Свое насилье и разбой —
Пусть из его жилища тоже
Взовьется к небу женский вой.
Оплакать сына-нечестивца
Теперь должна старуха мать.
Посеяв зло, как говорится,
Добра злодеям не пожать.
Они не чтут суда чужого,
Им дорог свой, неправый суд.
А ты, безродная, готова
Из-за Кичира спорить тут».

«Нет, что б вы там ни говорили, —
Позор, мужчины, вам, позор!
Не сами ль вы его хвалили
И возносили до сих пор?
Давно ли вы твердили с жаром:
— Кичир в бою не ровня нам,
Лишь он один своим ударом
Врага разрубит пополам.
Где только он ни пронесется —
Там вражьи головы горой!
Едва ли где еще найдется
Такой же доблестный герой. —
А что теперь? Друзья Аслана
Сбивают с толку вас, и вы
Его браните неустанно,
Людской не слушая молвы».

«Ну, баба, смыслишь ты не много,
Когда потворствуешь врагу!» —
«Закрой десницу, ради бога,
Ее я видеть не могу.
Пусть тот, кому злодейство мило,
Кичится ею, сумасброд!» —
«Ты у Аслана бы спросила,
Как он десницы этой ждет!».

Демур уходит в дом с добычей,
Он дома вешает ее
Туда, где требует обычай
Хранить кремневку и копье.

▼

Покрыла землю тьма ночная,
В селе настало время сна.
Как знать, кто спит, беды не зная,
Кто плачет, сидя у окна?
Кто, слушая дыханье друга,
К щеке щекою нежно льнет?
Спокойно дремлет вся округа,
Петух, и тот не запоет.

Заснул Демур, под буркой лежа,
Но у жены болит душа.
Вот из-под бурки, бросив ложе,
Она скользнула не спеша.
Зажгла лучину, смутным взором
Десницу ищет на стене,
И чей-то голос ей с укором
Бормочет что-то в тишине.
И так он страшен, этот голос,
И так он близок и знаком,
Что всё в ней сердце расколосось
При этом шепоте родном!
Демур всё спит, вздыхая сладко,
На вражью кисть глядит жена,
И сил последнего остатка
Уже лишается она.
«О горе! Чья это десница!
Вот перстень матери моей!
Уж не во сне ль мне это снится —
Родное имя средь камней?
А вот знакомый след ожога.
Алхаст, мой братец! У огня
Не ты ли в юности глубоко
Дивил отвагою меня?
Не мы ль, соперничая в силе,
Кидали угли на ладонь?»

Не мы ль, дурачась, говорили,
Что можем выдержать огонь?
Так вот, Демур, каков твой жребий!
За что ты брата загубил?
Пускай померкнет в ясном небе
Твоя звезда среди светил!
Пускай прибьет твою десницу
К воротам башни супостат.
О горе, горе нечестивцу!
За что погиб мой милый брат!
Но нет убитому возврата,
И спит Демур, и всюду ночь...
И женщина с рукою брата
Из дома выбежала прочь.

Бежит, безумная, в Терело
И плачет, бедная, навзрыд;
Чтоб мертвое оплакать тело,
К Кичиру в дом она спешит.
Ведь плач сестры — отрада брату,
Погибшему в расцвете дней.
Почуя горькую утрату,
И дол и горы вторят ей.
Жена счастливей, чем сестрица:
Хоть горек слез ее поток,
Но небо скоро прояснится,
Как только дунет ветерок.
Демур жену зовет в испуге —
Нет никого, пуста кровать,
И не видать его супруги,
Как и десницы не видать.

VI

А в понедельник над землею
Настал рассвет в обычный час.
Природа, мучимая тьмою,
С улыбкой глянула на нас.
Туманы слез на землю сея,
Венчает горы гряда туч.
Кто перед домом Кичирбея
Бушует, гневен и могуч?

Чей это слышен крик орлиный:
«Кто опозорил отчий дом?
Кто смел меня перед общиной
Покрыть позором и стыдом?
Мой гость убит под сенью крова,
Моя поругана семья.
Кто за меня убил другого,
Уже догадываюсь я!
Коль не отмщу за удалого,
На что и шашка мне моя!»

Едва к родимому порогу
Вернулся он — и в путь опять,
И две лепешки на дорогу
Ему едва всучила мать.
Пылают очи Кичирбея,
Клубятся брови, словно дым.
Скакун крылатый, не робея,
Танцует яростно под ним.
Вот поскакал он по долине.
От рукоятки до ножон
Сверкает шашка. Как святыне,
Любимой шашке верен он.
Пока не сыщется убийца,
Он всех расспросит — что и как,
И до тех пор не возвратится,
Пока убит не будет враг.
Но нет свидетелей покуда,
И сердце бьется тяжело,
И всё ж с надеждою на чудо
Он направляется в Дикло.
Как барс с израненной душою,
Тая зловещие мечты,
Спешит он узкою тропою
Подняться в горы сквозь кусты.
Он что-то шепчет и бормочет,
Порой бранится он с конем,
Как будто гнев развеять хочет
И злобу выместить на нем.
Но вот, рыдая, по тропинке
Навстречу женщина бежит,

И красотой простолюдинки
Сражен взволнованный джигит.
«О чем ты, женщина, рыдаешь?
Что ищешь здесь среди камней?» —
«Ах, без печали, сам ты знаешь,
Не льются слезы из очей». —
«Но что с тобой? Откройся смело,
Скажи мне, в чем печаль твоя?» —
«Далеко ль, всадник, до Терело?
Как звать тебя, не знаю я.
Не осуди, что я с тобою
Здесь говорю наедине». —
«Я терелоец, звать Дарлою,
Слыхала, может, обо мне?» —
«А правда ль, что у вас кого-то
Убили? Слух идет вокруг». —
«Достойный славы и почета,
Убит Алхаст, Кичиров друг.
Как жаль, что нету Кичирбея!
Во имя друга своего,
Он заманил бы в сеть злодея
И уничтожил бы его». —
«А где Кичир?» — «Кичир далеко,
Он скрылся в дальние края.
Аслан травил его жестоко,
Вражды и злобы не тая.
О ком ты плачешь? Об Алхасте?
Уж он не родственник ли твой?» —
«О, горе, всадник, мне! К несчастью,
Я довожусь ему сестрой». —
«Так, значит, ты жена Демура?
Демур — мой друг и побратим». —
Но шепчет женщина понуро:
«Аллах меня рассудит с ним!
Он для меня — убийца брата,
Я не желаю знать его.
Настанет день — придет расплата
За гибель брата моего». —
«Но он — убийца поневоле,
Ошибся ночью — вот беда!
Вины за ним не знаю боле,
Он витязь, право, хоть куда!»

И просветлел Кичир унылый,
Услышав радостную весть:
Открылся враг его постылый,
Теперь одно осталось — месть!
Но перед женщиной худого
Кичир о нем не говорит.
Она ж в ответ ему сурово
В полубеспамятстве твердит:
«Ошибся он? А вы не верьте,
Что он ошибся. Пусть умрет!
Пускай в проклятый саван смерти
Оденет грешника народ!
Убился б лучше сам, проклятый,
Чем убивать односельчан.
Принес ко мне десницу брата,
Как будто я ему Аслан!
Скажи мне, сделай одолженье,
Где путь в Терело?» — «Путь прямой.
С холма увидишь ты селенье,
Когда последуешь за мной.
И дом и башню Кичирбея
Я покажу тебе, идем! —
И Кичирбей поднялся с нею
На холм, поросший дубняком. —
Смотри! Вон, видишь, под горою
Белеет что-то? То — стена
Его жилища. За стеною
Речушка горная видна.
Иди всё вниз, не зная страха,
О тяжком горе позабудь.
Да вкусит милостей аллаха
Твой бедный брат! Счастливый путь!»

И, кончив речь на этом слове,
Помчался всадник что есть сил,
И шапку сдвинул он на брови,
И палец злобно прикусил.
Он едет лесом и бормочет:
«Ведь я ж ему не делал зла,
А он меня прикончить хочет,
Как лютый зверь, из-за угла.

Ну что же, берегись, изменник!
Но в смертный час имей в виду,
Что честь моя дороже денег, —
Я, как шакал, не нападу!»
И душит гнев Кичира снова,
И лютой мести жаждет он,
И нет ему теперь иного
Закона. Мечь — его закон.
И мутный взор его светлеет,
И скорбь исчезла без следа.
Кто отомстить врагу не смеет —
Да будет проклят навсегда!

Минуя горы и долины,
Он скачет, яростью томим.
Как в землю врытые кувшины,
Гудят ущелья перед ним.
С откосов катятся обвалы,
Несется гул из глубины,
И не вином, но кровью алой
Ущелья многие полны.
Вот он, спустившись, едет лугом.
Как тут привольно! Но народ
Отсюда прочь бежит с испугом,
Он тут не сеет и не жнет.
Цветы в траве таращат очи,
Под ними — мертвые тела,
И над ущельем дни и ночи
Слезится сумрачная мгла.
И просыпаются растенья,
И светят ночью, как огни.
Когда б не божье изволение,
Наверно, спали б и они.

Есть слух: когда-то море крови
Стояло тут, и лишь луна,
Припав к бойцу на изголовье,
Всё море выпила до дна.
Резню с врагом когда-то летом
Здесь стойко выдержал черкес,
И с той поры на луге этом
Расцвел цветов волшебный лес.

Цветы сияют, словно свечи,
Как тризна множества огней,
И мертвецам, наверно, легче
Дремать, приглядываясь к ней.
И старцы, полные любви,
Не устают их поминать,
И юноши, нахмутив брови,
Сжимают шашек рукоять.

VI

Ночь всё темней, кустарник глуше,
Ни зги не видно на пути,
И вдруг коня большие уши
Кичир заметил впереди.
«Здорово, братец!» — сквозь потемки
Его приветствует ездок,
И сразу этот голос громкий
Вонзился в сердце, как клинок.
И Кичирбей вперед рванулся:
«Здорово! Как тебя там звать?
Я вижу, малый, ты рехнулся!
Чье поле вздумал ты топтать?» —
«Демур я, — слышится из мрака,
И в голосе заметна дрожь. —
А сам ты кто такой, однако,
Коль так бессовестно орешь?» —
«Я тот, кто спит в сырой могиле,
Но знай, палач моей руки,
Что я и мертвый биться в силе,
Твоим заботам вопреки.
Готовься к бою, враг тебе я,
Подходит твой последний час!» —
И, взвизгнув, шашка Кичирбея
Над головой его взвилась.
И голова, мелькнув в полете,
Упала около куста.
Как бы в ленивой позевоте,
Открывшись, замерли уста.
И в обезглавленное тело
Вошел клинок, направлен вкось,

И вся трава побагровела,
И тело кровью облилось.
Скрестились руки у Демура,
Напрасно он искал жену!
И статный конь его понуро
Стоит, отпрянув в глубину.
Он о хозяйине томится,
Он ржет в тревоге и тоске,
И проклиняет он убийцу
На непонятном языке.

И поднял голову с дороги
Кичир, нахмуривший чело,
И поспешил через отроги
По направлению в Дикло.
И перед окнами Аслана,
Воспользовавшись темнотой,
Высокий шест среди бурьяна
Воткнул он с мертвой головой.
И миг душа повеселела —
Он отдал должное врагу,
Честь спасена, пора в Терело,
Назад, к родному очагу!

VIII

В ту ночь Аслан, больной и хмурый,
Томился в креслах у стола
И в ожидании Демура
Свои обдумывал дела.
Демур всё медлил... В нетерпенье
Аслан прислужнику велит
Узнать немедленно в селеньи,
Куда пропал его джигит.
Слуга сказал: «Я знаю точно,
И есть свидетели, к тому ж,
Что в воскресенье, в час урочный,
Домой вернулся этот муж.
Вернулся с полною победой,
Добился лучшей из заслуг,
Но к нам явиться с вестью этой
Ему доселе недосуг». —

«С победой? Разве Кичирбея
Не стало больше, дуралей?» —
«Аллах свидетель, что тебе я
Не лгу: зарезан Кичирбей». —
«Зарезан? Ну, коль так случилось,
Вот золотой за эту весть!
Я обещал Демуру милость,
Вели скорей его привести!» —
«Тут, господин, такое дело...
Не знаю, как и рассказать...
Жена, как видно, захотела
За что-то мужа наказать.
Она с рукою Кичирбея
Куда-то скрылась из села,
Демур погнался вслед за нею.
От баб повсюду много зла!» —
«Что ж, подождем немного. Впрочем,
Я сомневаюсь и теперь,
Что мы не попусту хлопочем:
Весьма коварен этот зверь!»

IX

Врагам бы жить с такой бедою,
А не черкесам здешних мест!
Наутро с мертвой головою
Они нашли высокий шест.
Стояли воины понуро,
Вздымался к небу женский вой.
«Кто обезглавить мог Демура?» —
Вопили родичи толпой.
Но как кинжалы не кусали
И как не сыпали огни,
Кого винить, еще не знали,
Бушуя попусту, они.

И только молча, стиснув зубы,
Стоял черкесский властелин.
Как все на свете душегубы,
Убийцу чуял он один.
Вот он, нахмуренный и властный,
Взглянул с балкона на людей:

«Не тратьте ярости напрасной,
Его убийца — Кичирбей!»
И сняли голову черкеса,
И завернули в полотно,
И поскакали в чащу леса,
Пока не сделалось темно.
Но где найдешь головуреза?
Матёрый волк исчез давно!

Х

Прошло не более недели,
В событиях новый поворот:
Такой взволнованный доселе,
Уж не волнуется народ.
Узнав виновника расправы,
Он в порицанье ни гу-гу.
«Убийца прав, как все мы правы,
Когда хотим отместить врагу.
Он не нанес обиды людям,
Он древний выполнил устав.
Мы по исходу дела судим,
Кто прав меж ними, кто неправ».

ХІ

Повадка мира неизменна:
То тьма кругом, то снова свет.
Громады туч, склонив колена,
Толпой ложатся на хребет.
Текут потоки, с гор стекая,
Уходят в дальние места.
Сраженный витязь, умирая,
Целует милые уста.
И, как всегда, рождаются дети,
Чтобы уйти во мрак могил.
Любовь и ненависть столетий
Враждуют, выбившись из сил,
И вечно только то на свете,
Что в жизни каждый сотворил.

И в тяжкий зной и в непогоду
Гора меняет облик свой,
Подчас роса кропит природу,
Как пот сияя трудовой;
А что толочь напрасно воду?
Вода останется водой!

Пылает гнев в душе Аслана,
Застлал глаза ему туман.
Коль не клинком — путем обмана
Задумал действовать Аслан.
Клинок хорош, покуда в силе
Клинком владеющий ездок,
Но предки верно говорили:
«Язык острее, чем клинок».
О род людской, о род бесчестный!
Неужто ты настоль ослеп,
Что даже камень бессловесный
Зовешь вершителем судеб?

ХИ

Пришел посланец к Кичирбею —
Почтенный муж, не вертопрах.
Лукавством он подобен змею,
Но мед и сахар на устах.
Махмед, украшен сединою,
В селеньи славится умом,
Он обеспечен барантою,
Богат породистым скотом.
Он Кичирбея величает,
Его подвижником зовет,
В мужскую душу источает
Лукавства деятельный мед.
Взывает к разуму и сердцу,
Чтоб внял словам его джигит,
И наконец единомерцу
Вполне разумно говорит:
«Ты прав, Кичир. Твоя отвага
Известна всем. В честном бою

Не раз черкесская ватага
Решимость видела твою.
Но и тебе, неугомонный,
Несладко жить в краю родном —
Везде ты с шашкой обнаженной,
Всегда со вздернутым курком!
Бываешь дома ты украдкой,
Жуешь свой хлеб исподтишка,
И всю ты жизнь живешь с оглядкой,
Чтоб не слетела с плеч башка.
И нет тебе такого крова,
Где бы никто не угрожал. . .» —
«Махмед, чем быть рабом другого,
Уж лучше жить, как ты сказал.
Я не боюсь, как видишь, смерти,
Она ко всем, увы, придет,
Но и без нас в небесной тверди
Наверно солнышко взойдет.
Блажен лишь тот, кто, умирая,
Не устрашается меча:
Он, сам себя переживая,
В сердцах сияет, как свеча.
Хозяин жизни и свободы,
Живым обязан быть живой,
А коль умру, так мир природы
Один хозяин будет мой». —
«Боишься рабства ты напрасно,
Ты будешь первый человек, —
О том клянется ежечасно
Детьми своими Аслан-бек.
Он говорит: «Клянусь сынами,
Когда придет ко мне Кичир,
Мы будем верными друзьями
И заключим почетный мир.
Я одарю его дарами,
Каких еще не видел мир!»
К тому ж молва заговорила,
И это правда, может быть,
Что враг собрался близ Хваргило,
Чтоб нас разбить и истребить.
И сам ты согласишь, полагаю,
Не время спорить в этот час,

Когда отеческому краю
Необходим любой из нас.
Любой, кто носит шапку мужа,
В такое время, как теперь,
Обязан силою оружья
Теснить противника за дверь.
Пойми ж, как важно для Аслана,
Чтоб ты явился с мировой,
Чтобы служил ты неустанно
Своей Черкесии родной!»

«Приду, пускай творит что хочет,
Или что сердце повелит!
Не о дарах Кичир хлопочет,
Не о забвении обид!
Я не нуждаюсь в одобреньи,
И пусть меня не судит мир!
Приду, хотя бы всё селенье
Сказало: «Спятил наш Кичир!»
Как завещали людям деда,
Войду я братом в этот дом,
И пусть он мне готовит беды,
Коль устоит перед стыдом!
А если вправду час мой близок —
Меня он грязью не зальет.
Неужто бек настолько низок,
Что ложь закону предпочтет?» —
«Клянусь душою, об измене
Теперь и думать позабуди!
Пусть враждовал он, тем не мене
Не видел пользы в том ничуть.
Порукою — мое знакомство,
Я стар уже, мне стыдно лгать!»
Кичир и тени вероломства
Не мог в чертах его признать!
«Ну что ж, старик! Не надо много
На это дело тратить слов.
Всю меру доброго и злого
Я испытать и сам готов.
На днях приеду я к Аслану,
Не распинайся предо мной!

Бояться я его не стану,
Хоть и рискую головой». —
«Вот будет радость властелину,
Коль ты, Кичир, приедешь к нам!
Прощай, забудь свою кручину,
Я всё Аслану передам». —
«Прощай! Иди, посланец, с миром! —
И, проводив лукавца в путь,
Герой сказал: — Легко с Кичиром
Поладить, думая надуть!»
И тень улыбки неохотной
В суровых дрогнула устах, —
Так улыбнулся б лев голодный,
Завидев недруга в кустах.
Кичир от сердца ждал ответа,
Обдумал дело он вполне.
«Пойду, — решил он, — если это
На пользу нашей стороне!»
И пред его духовным взором
Возник кровавый бой с врагом
И край родной его, в котором
Одни развалины кругом.

ХІІІ

«Зачем тут носит дуралея?
Задумал что-нибудь опять?» —
Спросила мрачно Кичирбея,
Соседа выпроводив, мать.
«Аслан послал его мириться,
Пойду к Аслану с мировой». —
«Опомнись! Что с тобой творится?
В уме ли ты, сынок родной?
Ты не ребенок годовалый,
Зачем ты лезешь к волку в пасть?
Аслан хитрит с тобою, малый,
Плутует, чтоб ему пропасть!
Ты думаешь, согласи надо
Тому, кто сердцем лютый змей,
Кто для меня — исчадь ада,
Предатель родины моей?

Но если ты, теряя разум,
Не хочешь слушать мать свою,
Иди, кончай с собою разом,
Лишь просьбу выполни мою.
Замыслив пагубное дело,
Убей меня своей рукой,
Чтоб ни одна душа в Терело
Меня не видела живой».

«Легко ли, мать, снести строенье,
Что строил долгие года?
Постигнув в жизни разоренье,
Вернем любое мы именье,
Но честь и совесть — никогда.
Пускай я жизнь свою теряю,
Теперь она мне лишний груз!
Не по заслугам, полагаю,
Я этой жизнью обладаю,
Коль ни на что я не гожусь.
Когда в ворота враг стучится,
Что остается делать мне?
На что Кичир твой пригодится,
Коль в битву он не устремится,
Оставшись где-то в стороне?
Нет, что б ты там ни говорила,
Я жить бесчестным не привык.
Пускай возьмет меня могила,
Лишь не трепали бы язык.
Смогу ль я жить, коль люди скажут,
Что оказался трусом я?
А коль платком еще повяжут,
Что будет с нами, мать моя?»

XIV

Едва на сонный двор Аслана
Упал, сверкая, первый луч,
Какой-то витязь утром рано
Подъехал к крепости, могуч.
Как бы не чуя сердцем худа,

Спокойно выпрямивши стан,
Он кликнул слуг и ждет, покуда
Не выйдет из дому Аслан.
Вот двое слуг к нему навстречу
Идут, берут его коня,
Приветствуют учтивой речью,
Смиренно голову склоня.
И в дом пришельца приглашают
К хозяину, и Кичирбей
Худого умысла не чает
По виду этих двух людей.

И вдруг, одетые в кольчуги,
Гремя оружием, с двух сторон
Другие выскочили слуги —
И нож над сердцем занесен!
Но Кичирбей в ответ — ни звука,
Молчит, как камень, как утес,
Не пошатнулся от испуга,
Проклятья он не произнес;
Одно лишь сердце билось глухо,
Напившись горечью до слез.

Схватили витязя, связали,
Молчит, как камень, Кичирбей.
В лице — ни горя, ни печали,
В глазах — ни злобы, ни страстей.
Глядит куда-то за ограду,
Где плачет женщина. И вот,
Ему устроивший засаду,
Аслан по лестнице идет.

«Попался, волк! Теперь в капкане
Забудешь удасть ты свою!
Брежал не ты ли об Аслане:
— Предатель он в родном краю!
Когда-нибудь на поле брани
Я заколю его в бою. —
Что, заколол меня, негодный?
Ты сан еще признаешь мой!

Я — повелитель твой природный,
Одно лишь небо надо мной!
Признайся, ловко мы с рабами
Тебя сегодня обошли?
Сожгу тебя! Обрушу в пламя!
Пылай до неба, враг земли!»

И отвечал Кичир сурово:
«Исполни просьбу наперед:
О том, как ты нарушил слово,
Пускай не знает наш народ.
Пусть не узнает род черкесский
Твоей неслыханной вины,
Не оскверняй отравой мерзкой
Святые нравы старины.
Обычай дедов непреложен —
Ты должен чтить родной очаг,
Не вынимать клинка из ножен
На гостя, будь он даже враг!»

«Но есть у нас другой обычай:
Мы проливаем кровь за кровь,
Мы за добычу мстим добычей
И за любовь даем любовь.
Вот наш закон! Тебе ль, бродяга,
Его мне нынче объяснять!
А что есть зло и что есть благо —
О том Аслану лучше знать».

XV

Итак, Кичир попался в сети!
Услышав новость поутру,
Мужчины, женщины и дети
Бегут к Асланову двору.
Гул удивленья, шум расспросов,
И лай собак, и плач ребят,
И лишь орлы с вершин утесов
Вослед за ними не летят.
И только грифы равнодушно
Следят глазами за толпой,

Где каждому увидеть нужно,
Каков он, схваченный герой.
Глазам и сердцу человека
Приятен доблестный джигит!
Лижет сердце Аслан-бека,
Вот он встает и говорит:
«Внимайте, люди! Зверь в капкане!
Желаю, чтоб любой из вас
Ему немедля в наказанье
Вязанку хвороста припас.
Несите все, чтоб было много!
Пускай погибнет злобный тать,
Коль никого он, кроме бога,
В стране не хочет признавать!»

И навалили дров горою,
И развели костер высок,
Чтобы испечь на нем героя,
Как кукурузный колобок.
И чует сердцем витязь пленный,
Какая мука ждет его,
И всё же лик его надменный
Не выражает ничего.
И говорит Аслан с усмешкой:
«Тебе, как видишь, Кичирбей,
Пылать придется головешкой!
Доволен казнью ты своей?» —
«Да, я своей доволен казнью,
И будь в сто раз страшней она,
Ни малодушьем, ни боязнью
Душа не будет смущена». —
«А ты забудь, приятель, враки!
Винись, так, может, и прощу». —
«Пускай умру, но у собаки
Я снисхожденья не ищу!» —
«Ну, коль своей не бросишь дури,
Так спой нам песню, сумасброд!» —
«Вот это так! Пускай чонгури
Твой раб из дома принесет».

И вот несут чонгури слуги,
И инструмент берет смельчак,

И крепко связанные руки
Кладет на струны кое-как.
И мечет пламя он глазами
В толпу собравшихся людей.
Пускай огонь бросают в пламя,
Не утрашится Кичирбей!
Сердца людей, сожжен врагами,
Согреет мукой он своей.

Ревет костер, огнем пылая,
Клубится дым, как черный лес.
Уж небосвод, изнемогая,
В тумане траурном исчез.
Народ с Кичира глаз не сводит,
В сердцах томленье и печаль.
Кичир рукой по струнам водит
И исподлобья смотрит вдаль.
И замечает он с отрадой
Лицо заплаканное той,
Что горевала за оградой,
Когда он схвачен был толпой.
О чем теперь она рыдала —
Кичир не знал наверняка,
Но вдруг душа ее признала,
И улыбнулся он слегка.
И грозный звон, как рокот бури,
Над головами полетел:
Кичир склонился над чонгури,
Ударил в струны и запел.
Запел, хотя и был он связан,
Запел, как вольный человек,
И каждый юноша обязан
Запомнить песнь его навек.

1

«Для лжецов честолюбивых
Предназначен мир земной;
Честных гонит он, а лживых
Укрывает он полкой.
Не узнает дней счастливых
Им отвергнутый герой!

2

Герой отчизне не обуза,
 Но украшение и оплот,
 А тот, кто держится за труса,
 Тот сам отчизну предает.
 В грехе погрязнув небывалом,
 Предатель родины моей
 На растерзание шакалам
 Бросает доблестных людей.
 Он загребает горы денег,
 Покуда льем мы кровь свою.
 Дивлюсь, как может он, изменник,
 Доселе жить в родном краю!

3

Вековой закон адата
 Чту я, вольный житель гор.
 Честь мою ценою злата
 Не ценю я до сих пор.
 Сердцем вольного черкеса
 Я люблю черкесский край,
 Темя гор, трущобу леса,
 Перелеты птичьих стай.
 И одно лишь сердцу горца
 Неизвестно наперед:
 Кто из нас в раю спасется,
 Кто в геенну упадет.

4

Мужская доблесть с каждым разом
 Принять умеет новый вид,
 Но только тех прославит разум,
 Кто в смертный час не задрожит.
 Одни лишь сильные душою
 Без страха гибнут за народ.
 Благословенный всей страной,
 Да возрастет их славный род!
 И пусть с корнями погибают
 Лжецы и сеятели зла!
 Змея змееныша рождает,
 Осел рождается от осла.

Не жди от терна винограда,
А от бурьяна — красоты.
Их вырывать с корнями надо,
Чтоб уничтожить их цветы!»

XVI

Перед певцом в середине стана
Стопилось множество ребят.
Два смуглых мальчика Аслана
В упор на витязя глядят.
А пламя стонет, поднимаясь,
Костер бушует пред толпой,
И коготь смерти, приближаясь,
Над самой вьется головой.
И тот, кто зря не тратил слова,
Кто воздавал врагам сполна,
Вдруг закричал: «Узнайте ж снова
Мужскую доблесть! Вот она!»
И вдруг, прижав к себе локтями
Двоих Аслановых детей,
Молниеносно прыгнул в пламя
С победным воплем Кичирбей:
«Вот наша доблесть! . . .» И сомкнулось
Над ними пламя. . . В тот же миг
За ними женщина рванулась —
И пламя снова скрыло их.
Так умерла жена Демура,
Алхаста юная сестра. . .
Клубится дым густой и бурый,
До неба — зарево костра.
И не прийти в себя народу;
Аслан, как труп, оцепенел,
И веет смрадом на природу
От не вполне сгоревших тел.

XVII

Наутро мертвую старуху
Нашли черкесы на земле.
Вчера, примчавшись что есть духу,
Всё рылась старая в золе.

Родные кости всё искала,
Всё собирала их в подол,
Но прах ветрами раскидало
И унесло в соседний дол.
И вот не стало, видно, мочи
Существовать ей в мире зла,
Пронзила грудь она и к ночи
Безмолвно кровью истекла.

XVIII

А что же слышно об Аслане?
Где он, проклятый? Как живет?
Необычайное сказанье
О нем народ передает:
«Как пес, бесславно умирая,
Не покидает он постель,
И, словно снег на солнце тая,
Не может кончиться досель.
Хватил удар его великий,
Согнуло грешника крючком,
И так он, страшный, черноликий,
Весь день валяется ничком.
Ему еду приносят слуги,
Он «Прочь! — кричит. — Там змей полно!»
Как видно, мучаясь в недуге,
Уже рехнулся он давно.
А если кто придет с поклоном,
Чтоб повелителю помочь,
Весь день он стонет диким стоном:
«Я не предатель! Руки прочь!»

И так идут, проходят годы,
Текут, как полая вода,
И на людскую боль природа
Глядит спокойно, как всегда.

ЗМЕЕЕД

(Старинный рассказ)

I

На кровле дома, там, где Цыка
Сегодня потчевал гостей,
Хевсуры, с мала до велика,
Деревней бражничали всей.
Пандури в воздухе гремела
Хвалу воителям былым,
Сквозь чувства слушателей смело
Мосты прокладывая к ним.
Певцы героев величали,
Которых чтит вся страна,
С великим пылом вспоминали
Их дорогие имена.
Седые старцы в сизом дыме
Своих табачных чубуков
Вели беседу с молодыми,
Распознавая, кто каков.
Для назиданья молодежи
Героев чествуя не раз,
Они твердили детям: «Кто же
Теперь прославится из вас?»

И лишь один, внимая сходу,
Хевсур задумчивый молчит.
Все льнут к нему, как пчелы к меду,
Но неприветлив он на вид.

Заблаговременно напенив
Сосуд напитком золотым,
Без шапок, стоя на коленях,
Склонились двое перед ним.
«Покушай, Миндия, немного,
Испробуй нашего пивца,
Промолви слово, ради бога,
Утешь хевсурские сердца!» —
«Нет, люди, я болтать не стану,
Душа моя пьяным-пьяна! —
И взял он чашу-карахану
И осушил ее до дна. —
Всё то, что должен был сказать я,
Скажу я в следующий раз,
Коль смерть нечаянная, братья,
Не разлучит навеки нас».
На волю вырвавшись из плена,
Тянулся к людям он душой,
Но, выпив пива, постепенно
Хмелел в компании хмельной.

Об этом Миндии в селеньи
Народ рассказывал, что он
Лет десять жил в уединеньи,
Злодейски каджами пленен.
Немало он рождеств Христовых,
Немало он пасхальных дней
Провел в урочищах суровых
Вдали от родины своей.
Совсем измаялся бедняга,
Извел несчастного полон,
Из глаз его сочилась влага,
Душа рвалась из тела вон.
Как часто он родные горы,
Ущелья сумрачные скал,
Снега, тропинки, кругозоры,
Убитый горем, вспоминал!
Как часто, мукою терзаем,
Он о своей вздыхал родне!
Родимый дом казался раем
Ему в далекой стороне.
И наконец решил несчастный:

«Чем жизнью мучиться такой
И угасать в тоске напрасной,
Покончу лучше я с собой!»
И вот увидел он однажды,
Когда решил покинуть свет,
Как на огне варили каджи
Замысловатый свой обед.
Тела змеиные варились
В котле, и сразу понял он,
Что небо посылает милость
Ему, попавшему в полон.
Он взял кусок и с омерзеньем,
Желая смерти, съел его,
Но небеса с благоволеньем
Вдруг посмотрели на него.
Сознание новое вселилось
В него, и некий новый дух,
И зренье сердца прояснилось,
И отворился к миру слух.
И понял он пернатых пенье,
И рев зверей, и шепот трав,
И в думы каждого растенья
Проник, душой затрепетав.
Всё, что он знал одушевленным,
Всё, что он мертвым знать привык, —
Росло по собственным законам,
Имело разум и язык!
И бедный пленник поразился
Тому, что строй его ума
В одно мгновенье изменился,
Как изменилась жизнь сама.
Он в этот миг притворство каджей
Постиг вполне. Вкушая змей,
Перенимал их мудрость каждый,
Сокрытую от всех людей.
Имея знанья в изобилии,
Они скрывали их исток,
Хоть лицемерно говорили:
«Ты съел бы, Миндия, кусок!»

Теперь он понял мир природы,
Ее живые голоса.

И с ним беседовали воды,
И говорили с ним леса.
И он вместил в себе, счастливый,
Все тайны каджей. Только зло
В его душе правдолюбивой
Обосноваться не могло.
И перестал он убиваться,
И стал ему не страшен плен,
И каджи бешеные злятся
При виде этих перемен.
Но пусть их будут даже сотни,
Он не заботится о том:
Он завтра, если не сегодня,
Разгонит их одним пинком!

Он быстр, как пуля, этот воин,
Он мудр умом, как чародей,
Он быть надеждою достоин
Пшав-Хевсуретии своей.
Сама венчанная Тамара
Ему дивилась много раз:
«Не нанесет нам враг удара,
Покуда Миндия средь нас.
Покуда он, могучий, с нами,
Покуда горцы вместе с ним,
Народ, собравшийся под знамя,
В боях с врагом непобедим».

И точно: он постиг приемы
Уничтоженья басурман,
Ему все способы знакомы,
Как исцелять людей от ран.
Будь ты разрублен на две части,
Коль подоспеет он к тебе,
Спасен ты будешь от напасти
Наперекор твоей судьбе.
Вот почему не тает в битвах
Тамары доблестная рать
И имя Миндии в молитвах
Не забывают поминать.

II

Едва вернется к нам весна
И солнце в небе разгорится,
Весь мир, очнувшись ото сна,
Поет, звенит и веселится.
Обнявшись с зеленью листов,
Бутоны лопаются с треском.
И снова Миндия готов
Бежать к лугам и перелескам.
И мир здороваётся с ним,
Как с давним другом и знакомым, —
Он каждой пташкой здесь любим,
Замечен каждым насекомым.
А что творится тут с травой!
Увидев гостя дорогого,
Шумят цветы наперебой:
«Дружище Миндия, здорово!» —
«Взгляни, я — средство против ран!» —
«А я — лекарство от падучей!» —
«А я — от горя талисман.
Сорви меня на всякий случай!»
Известно Миндии, что прок
Немалый в этих разговорах,
И за цветком он рвет цветок,
И набирает целый ворох.

Кому вдомек, что у цветов
Столь силен дух самозабвенья?
Чтобы болящий стал здоров,
Готовы жизнь отдать растенья!
Растила их природа-мать,
Поила, нянчила и грела,
Они ж готовы нам отдать
И душу нежную и тело.
Но то — цветы. А дерева —
Совсем иное. Эти — плачут!
И змееда их слова
Не раз, бывало, озадачат.
Идет он к вязу с топором,
А вяз ему: «Побойся бога!

Отраднo мнe в лесу глухом,
Дай мнe пожить ещe немного.
Пусть безоружен я вовек.
Не обрекай меня на муки!»
И вздрoгнет бедный дровосек,
И, потемнев, опустит руки.
Другое дерево найдет,
А то ещe печальней стонет...
И так ни с чем домой уйдет,
Кусточка малого не тронет.

А чтобы пламень не иссяк
И не остыл очаг в лачуге,
Он жжет солому и кизяк,
Валежник ищет на досуге.
Сбирает щепки, всякий сор,
Сухие ветки бересклета
И, поднимая к небу взор,
Благодарит судьбу за это.

Добро бы мучился один,
А он другим внушает то же:
«Соседи, буков и осин
Рубить в лесу для нас негоже.
Губить деревья — это грех!
Собирайте ветки и солому!»
Поднимут Миндию на смех,
А сами мыслят по-иному:
«Какой же грех, коль сам господь
Их создал ради человека!»
И до сих пор дрова колоть
Запрета нет для дровосека.

III

Во время сбора урожая,
Рубаху в спешке разорвав,
Чудак, порядок нарушая,
По полю мечется стремглав.
То там, то тут срезая злаки,
Меж ними вьется, как юла,
Покуда в этом кавардаке

Всю рожь не вытопчет дотла.
Дивятся вокруг него хевсуры:
«Что стало, Миндия, с тобой?»
А Миндия, бывало, хмурый,
Качает только головой.
«Ужель не слышите вы сами,
Самим вам, что ли, невдомек,
О чем, склоняясь перед вами,
Здесь молит каждый колосок?
Когда из нашего селенья
Я выйду на поле с серпом,
Они, бедняги, без сомненья,
Меня считают божеством.
Один кричит: «Меня скорее
Срежь, милый Миндия!» А тот:
«Меня, меня! Ведь я слабее,
Меня пугает небосвод!
При виде тучки поневоле
Я весь от ужаса дрожу —
Боюсь, что хлынет град на поле
И нас повалит на межу!»
Такие всюду восклицанья,
Такая всюду кутерьма,
Что наконец от состраданья
Схожу, несчастный, я с ума.
Колосья без толку хватаю,
Топчу ногами урожай,
И так я весь изнемогаю,
Что хоть водою отливай.

Бойтся града наша нива,
Она заботится о том,
Чтоб закрома свои счастливо
Могли наполнить мы зерном.
Чтоб не склевала зёрна птица,
Чтоб в поле попусту не сгнить,
Созревший колос сам стремится
Под серп скорее угодить.
Покорный праведному небу,
Чья безгранична благодать,
Он вырос людям на потребу,
Чтоб пищей алчущему стать!»

Справляло праздники село,
Варило пиво и гуляло.
К Кресту Гуданскому пришло
С утра молельщиков немало.
Хевсуры старые кругом
Сидят, покуривая трубки.
Один толкует о чужом,
Другой о собственном поступке.
Пересыпая шуткой речь,
Героя хвалят здесь не даром:
Он может надвое рассечь
Врага одним своим ударом.
Пришел и Миндии черед
Предметом стать для обсушенья.
В недоумении народ,
Что защищает он растенья.
«Не диво ль, — Чалхия сказал, —
Что верят Миндии на слово?
Я много раз ему пенял,
Теперь же вам скажу я снова:
Коль у деревьев есть язык,
Коль говорить умеют камни,
Зачем понять их хоть на миг
Не удавалось никогда мне?
Дурачит Миндия людей,
Хевсурские смущает души.
Выходит, мы его дурней,
И только он имеет уши!
Я правду, люди, не таю,
Я Миндию в виду имею.
Пора, услышав речь мою,
Ему задуматься над нею.
Положим, жалость хороша
К животным, птицам и растеньям,
Но в человеке есть душа,
Он не чета другим твореньям.
Выходит, если я убью
Врага, то я же и в ответе?
А сам-то Миндия в бою
Блюдет ли заповеди эти?

Не сам ли он своим мечом
За грудой трупов валит груды?
Зачем же он бог весть о чем
Твердит сородичам повсюду?
И вера наша против тех,
Кто человека убивает,
Но в правом деле этот грех
Господь убившему прощает.
А как же быть? Коль супостат
Опустошит страну родную,
Отнимет всё, чем ты богат,
И веру осквернит святую, —
Ужель войну считать за грех?
Нет, то не грех служить отчизне!
Вот так же бук или орех
Подчас мы рубим ради жизни».

«Что ж, люди, Чалхия не лжет, —
Заговорил народ несмело. —
Куда нас Миндия ведет?
Хорошее ли это дело?
Зачем, сомненьями томим,
Смущает нашу он общину?
Ведь если мы пойдем за ним,
Как жить тогда простолюдину?
Такого ль мы от вожака
Имеем право ждать совета?
Он губит нас наверняка
И сам понять не может это».

В толпе народа, одинок,
Сидел хевсур, слезами залит.
Никто додуматься не мог,
Что сердце Миндии печалит.
Ему, как видно, невдомек,
Что про него ведутся речи.
Сидит, глаза уставив вбок,
И мыслью странствует далече.

«Послушай, — Бердия сказал, —
О чем ты, Миндия, вздыхаешь?»

Зачем, печален и устал,
Народным толкам не внимаешь?
Ведь это не впервой для нас —
Давно заметило селенье,
Что каждый день ты десять раз
Свои меняешь настроенья».

И оглянулись все вокруг
На молчаливого хевсура.
«Эх, я заслушался пичуг, —
Ответил Миндия понуро. —
Вон на камнях, сложив крыла,
Они сейчас уселись вместе,
И та, что справа, принесла
Подружке страшное известье:
Погибли все до одного
Птенцы у матери-подружки.
Подумать только, каково
Теперь на сердце у пичужки!»

Хевсуры смотрят: так и есть,
Сидят две птички в отдаленьи,
И уж дыханья перевесть
Одна не может от волненья.
Склонилась ниц она и дух,
Упав на землю, испустила.
Понять, которая из двух
Погибла здесь, не трудно было!

Удивлено, поражено,
Затихло шумное собранье.
Ужели смертному дано
Вместить в себе такое знанье?
Конечно, Миндия не лжец, —
Решили все хевсуры разом.
Но только голоса сердец
Еще не слушается разум.
Хотя и ясно для людей,
Что речи Миндии не сказки,
Все бьют по-прежнему зверей,
Деревья рубят без опаски.

Увы, забыть про вкусных кур
Не в состоянии лисица.
Очаг без дела у хевсур,
Коль в нем полено не дымится!

V

В те дни усилилась вражда
С кистином, персом и османом,
Но победителем всегда
Бывал хевсур на поле бранном.
И миновали дни невзгод,
Окрепла Грузии ограда.
А если победил народ,
Народу большего не надо.
Покуда Миндия вожак,
Страшиться нечего хевсуру.
Какой еще посмеет враг
В его страну явиться сдуру?
Повсюду мир и тишина,
И солнце светит лучезарно...
Блажен герой, кому страна
За это счастье благодарна!

VI

На высоте скалы отвесной,
Под самым небом чуть видна,
Гнездится хижина над бездной,
Громадой гор окружена.
Блистая белыми снегами,
Твердыня каменная гор
Взметнулась к небу перед нами,
Людской притягивая взор.
Еще прекраснее, чем летом,
Ее суровый зимний вид.
Блеснет ли солнышко с рассветом,
Обвал ли с громом пролетит,
Закашляются ли теснины,
Как бы чахоточный больной, —
Седые горы-исполины
Благословенны и зимой.

Как часто летом обвевают
Их ласковые ветерки,
Как часто грозы зажигают
На их высотах огоньки!
Там ни покосов нет, ни пашен,
Никто там отроду не жал,
Лишь тур гуляет там, бесстрашен,
Точа рога о грани скал.
И неприветливые горы,
Корнями в бездне угнездясь,
Глядят неласково в просторы,
Где солнце катится, светясь.
Их о душе не мучит дума,
Тучнеть у них не может плоть.
И так стоят они угрюмо,
Не в силах время побороть.

Покрыта копотью всегдашней,
Огнем войны опалена,
К стене пристроенная башня
Над горной хижинкой видна.
Покуда жажда кровной мести
Пылает в сердце у людей,
Пока враги, собравшись вместе,
Со всех сторон стремятся к ней, —
Покою башня не узнает,
И как ей, бедной, отдохнуть,
Коль сотня пуль ее терзает,
Впиваясь в каменную грудь?

Пылает в доме спозаранку
Очаг с вязанкой добрых дров
И не смолкает перебранка
Двух отдаленных голосов.
Окружена детьми своими,
Сидит хевсурка у огня.
Хевсур вздыхает перед ними,
Судьбу несчастную кляня.

Муж

Будь проклят день, когда я сдуру
Тебя назвал своей женой!

Не я ль примером был хевсуру?
А нынче кто я стал такой?
Проклятая, из-за тебя я
Теперь никчемный человек!
Как мне ходить под небом, зная,
Что обещен я навек?
И где искать мне исцеленья?
Пуста, бесплодна жизнь моя!
Последний камень, без сомненья,
Теперь полезнее, чем я.
Я из-за вас неисцелимой
Болезнью ныне поражен,
Я из-за вас, непогрешимый,
И погрешил и посрамлен.
Из-за детей несчастных боле
Мне жить по-прежнему невмочь,
И о своей погибшей доле
Теперь я плачу день и ночь.

Ж е н а

Тебе вину свою не дело
Валить на голову мою.
Сама я разве захотела
В твою пристроиться семью?
Ты не давал мне сам проходу,
Твердил мне: «Мзия, видит бог,
Я за тебя в огонь и в воду!»
Твердил, покуда не увлек.
Зачем, оружие обнажая,
Врывался к братьям ты, как зверь?
Казалась сахаром тогда я?
Полынью стала я теперь?
Ты недоволен тем, что дети
Есть у тебя? Ты день и ночь
На бога ропщешь? Кто ж на свете
Семью из дома гонит прочь?
Одумайся! Не мы причина,
Что у тебя столь много бед!

М у ж

Нет, ты одна во всем повинна!
Не ты ль кричала мне чуть свет:

«Дрожат от холода детишки,
Ни щепки дров в такой мороз!
А Бердия себе дровишки
Давно уж из лесу привез!»
Корила ты меня примером
Невежественных, злых людей,
Ты величала изувером
Меня, отца твоих детей.
Толкала ты меня в могилу,
Ты отравляла мой покой,
И понемногу, через силу,
Вошел я в сделку сам с собой.
Срубил я раз одну чинару,
Не слушая ее мольбы,
Потом пошел и срезал пару,
Чтоб дым струился из трубы.
Окаменеть хотел я снова,
Молился богу, чтоб опять
Перед лицом всего живого
Живые чувства потерять.
Ты мяса турьего хотела,
Узнав, что кем-то тур убит.
О, как душа моя болела
От вечных жалоб и обид:
«Коль дети вырастут без мяса,
Нам не видать от них добра.
Увы, без этого припаса
Хиреет наша детвора».
Ах, чтоб ты в землю провалилась!
Пошел и я стрелять зверей.
Вот мясо, кушай, сделай милость,
Полней сама, корми детей!
Уж лучше бы сломать мне шею,
Чем выбирать неправый путь!
Но как о прошлом ни жалею,
Его мне больше не вернуть.

Ж е н а

Твою безмерную заботу
Не в состояньи я постичь.
Все люди ходят на охоту,
Деревья рубят, ловят дичь.

Муж

Болтунья ты и верхоглядка!
Ума в тебе ни капли нет.
Ты думаешь, чтоб кушать сладко,
Вокруг тебя устроен свет?
О, как мне сердцем не томиться?
Ведь мудрость прежняя моя
И всемогущество провидца
Навек оставили меня!
Причину смертного удела
Понять не трудно мертвецу.
Кто я? Бесчувственное тело!
Одно страданье мне к лицу.
Быть мертвецом еще при жизни —
Что в мире может быть страшней?
Чем помогу теперь отчизне,
Как послужу стране моей?
Не слышу больше я растений,
Не разбираюсь в их делах.
Увы, из всех земных творений
Я сам себе первейший враг!
И говор я не слышу птичек,
И трав приветливый напев,
С тех пор как стал в семье добытчик,
Не понимаю, помертвев.
И всё, к чему я был способен,
Уж не по силам больше мне.
Пучку соломы я подобен,
И то, пожалуй, не вполне.

Как я спасу страну родную?
Как отстою свое жильё?
Зачем, безумец, я впустию
Растратил знание мое?
Зачем горит еще доселе
На небесах моя звезда?
Уже давно враги не смели
Являться с вызовом сюда.
Теперь-то явятся, проведав,
Что уж не тот я стал боец,
И в прах размечут башни дедов,
И разобьют нас наконец.

Нет, не снесу я это горе,
И ваши сроки сочтены...
Так из-за вас могу я вскоре
Несчастьем сделаться страны.
Да и к чему мне жить на свете,
Коль в сердце больше нет огня,
Коль силы внутренние эти
Навек оставили меня?
Чем оправдаюсь я пред богом,
С каким я должен жить лицом,
Когда виновен я во многом
Перед живым и мертвецом?
Что мне доспехи боевые,
К чему мне добрый старый меч,
Когда в сражении впервые
Мне им кольчуги не рассечь?
Как есть мне хлеб, как пить мне воду,
Как мне вернуть сердечный жар,
Когда бессилён я природу
Благодарить за этот дар?

И муж скрестил худые руки,
И вышел из дому во двор,
Взглянул вокруг и, полон муки,
Вдруг зарыдал у края гор.

VII

Обсохли горы. Ручейки
С вершины катятся по склонам,
Лежат обвалы у реки,
Подобно свергнутым драконам.
Белокопытник окропив,
Промчался дождь, и во вселенной
Любой цветок теперь красив,
Как взор Тамары незабвенной.
Опять цветет у края скал
Пиримзе, цветик мой любимый.
Перевалив за перевал,
Ликует путник невредимый.
Скалу украсили стада,
Как красят родинки девицу.

Измученная в холода,
Природа снова веселится.
Страдальцев много на земле!
Заметить одного не диво,
А сколько их в любом селе
Скорбит зимою сиротливо!

В хевсурских селах шум и гам,
Повсюду слышны восклицанья:
«Опять враги явились к нам,
Ищите Миндию, селяне!
Кистинская подходит рать,
Уж мост разрушен на Аргуне.
Наш долг — селенья отстоять,
Закончив сборы накануне».

И взволновался весь народ,
Как будто море в непогоду.
Любой оружие достает,
Любой готовится к походу.
Уже давно у этих гор
Врагов хевсуры не видали;
Пустив коней во весь опор,
Давно их лагерь не топтали.
Теперь, волнуясь и спеша,
Они стремятся в бой кровавый,
И каждая горит душа
Желаньем подвигов и славы.
Хевсуры знают: кто убьет
Орды кистинской верховода,
Того признает весь народ
Героем этого похода.
Прикончив злобного врага,
С его отрубленной рукою
Он через горные луга
Вернется чтимый всей страной.
В награду за великий труд,
Освободивший землю нашу,
Ему, герою, поднесут
С зажженными свечами чашу.
Он будет первый человек,
Прославленный хевсурским краем,

И будет род его вовек
И знаменит и уважаем.

Спасаясь в башни от врагов,
Уходят жены, дети, вдовы,
А для защитников-бойцов
Хурджины с пищею готовы.

VIII

Уж вечер. Темные ущелья
Покрыты копотью ночной.
Сегодня им не до веселья,
Они угрюмы, как больной.
Хребты высокие и скалы,
Арагва вольная моя
Грустят, печальны и усталы,
И плачут, горе затая.
Лишь вестовые в отдаленьи
Кричат по селам: «Кто чуть свет
Идти откажется в сраженье,
Тому с семьей пощады нет!»

Ни огонька вокруг. Не слышен
Напев свирелей. И давно
Всё до иглы из горных хижин
В убежища унесено.
Селенья дремлют под охраной
Высоких башен, и стада,
Пока не сломлен враг неожиданный,
Укрылись в горы, кто куда.

Лишь на окраине Хахмати,
И сиротлив и одинок,
Сквозь дверь молельни на закате
Мерцает робкий огонек.
На листьях ясеня трепещет
Его колеблющийся свет,
То вспыхнет ярко и заблещет,
То вновь его как будто нет.
Так тело борется живое
Со смертью, испуская дух...

Стоят перед молельней двое,
И больше ни души вокруг.
У одного в руке дымится
В крови испачканный кинжал.
Бычок, переставая биться,
Пред ним зарезанный лежал.

Б е р д и я , х е в и с б е р и
О Миндия, свои щедроты
Да ниспошлет тебе господь!
Пусть всё исполнится, за что ты
Решил свой скот переколоть.
Пускай твоя не меркнет слава,
Покуда держит меч рука,
Пусть победят врагов державы
Тобой водимые войска.
Ты на святые жертвы много
Извел скотины, — больше всех.
О чем ты вечно молишь бога?
Какой замаливаешь грех?
Ты десять раз колол скотину,
Довольно было б раза два.
Пусть не в обиду властелину
Мои покажутся слова.

М и н д и я

Четыре у меня телицы
Да пара есть еще быков.
Чтоб от болезни исцелиться,
Я в жертву их принести готов.

Б е р д и я

Что за болезнь к тебе пристала?
Ведь знает каждый старожил,
Что сам болящих ты немало
Своим искусством исцелил.

М и н д и я

У тех иные были хвори.
Нельзя их сравнивать с моей.
И нелегко об этом горе
Распространяться средь людей.

Скупец не будет населенью
Мошну развязывать свою.
А впрочем, завтра, без сомненья,
Всё обнаружится в бою.

Б е р д и я

Ты — наша честь и упованье,
Тебе неведом жалкий страх.
Страны хевсурской достоянье
В твоих находится руках.
Ведешь ты с господом беседу,
Наставник твой — Хахматский Крест,
С тобой одержим мы победу, —
Твердят хевсуры здешних мест.
Святым Георгием хранима,
Пускай твоя не дрогнет грудь,
Пусть сам господь тебе незримо
Святой указывает путь.

И Бердия приподнял чашу,
Взывая в темный небосвод:
«Благослови надежду нашу,
Святой Георгий, наш оплот!
Пусть все хевсурские святыни
Помогут витязю в бою,
Чтобы никто не мог отныне
В родном бесчинствовать краю.
Назавтра бой, и, без сомненья,
Покуда Миндия вожак,
Враги потерпят поражение,
Грозой развеянные в прах».

При этом слове хевисбери
Поник молельщик головой,
И отвернулся он от двери,
И слезы он смахнул рукой.
И вдруг упал перед молельней,
Как стебель скошенный, как пук
Сухого хвороста... Смертельной
Едва ли может быть недуг!
Он шепчет что-то со слезами,
О чем-то молит горячо...

Такого горя пред глазами
Не видел Бердия еще.
Дивится он, что перед битвой
Так убивается вожак, —
Назвать обычною молитвой
Его мольбу нельзя никак.
Рыдает он, ломая руки,
В пыли коленопреклонен,
И тяжким скрежетом кольчуги
Сопровождает долгий стон.
И шепчет Бердия с мольбою:
«О Крест Хахматский, в день борьбы
Наставь на доброе героя,
Не отвергай его мольбы!»

IX

И хлынул ливень, и в ущелье
Обломки каменные скал
Поток, невиданный доселе,
В одно мгновенье разметал.
Но весть о битве до равнины
Он с гор хевсурских не донес,
И на траву легли в кручине
Росинки облачные слез.
И свет свечи погас в Хахмати,
И хевисбери больше нет,
И нет того, кто на закате
Искал спасенья здесь от бед.
Лишь камни древние молельни
Молчат сурово, и у ног
Арагва в ярости бесцельной
Сквозь горы гонит свой поток.

X

Сложив туманные крыла,
Проплакавшая до рассвета,
Заснула утренняя мгла,
В полотна белые одета.
Хотя и рады злаки нив

Ее росе животворящей,
Но чаще горных вод разлив
Бедой бывает настоящей.
Сегодня там, где был обвал,
Ущелья вновь зазеленели.
Громада башни с темных скал
Глядит задумчиво в ущелье.

Как будто горные цветы,
Хевсурки смотрят в амбразуры,
Желая видеть с высоты,
Как в бой отправятся хевсуры.
Молясь за воинов, они
Гадают и ведут беседу,
Кому святыня в эти дни
Пошлет желанную победу.
Окрестность горная с высот
Вполне открыта взору женщин, —
Никто по тропам не пройдет,
С высокой башни не замечен.
И вяжет каждая чулок,
Не позабыв домашних правил,
И жарко молится, чтоб бог
В беде отчизну не оставил.

С а н д у а

Ты, Мзия, пасмурна на вид,
В глазах сомненье и опаска.
Не будет Миндия убит,
Не плачь о муже, сероглазка!
Войну за родину свою
Считает лучшим он уделом.
Кто победит его в бою?
Такого нет на свете белом!
Уж коль тебя берет испуг,
То как же я должна томиться?
В сраженьи будет мой супруг,
Три брата в битве будут биться.
Однако с помощью меча
Победы Миндия добьется.
Тот, кто ходил на рогача,
С добычей новою вернется.

М з и я

Увы, а вдруг не сможет он
Сражаться мужественно снова?
Ведь целый год какой-то сон
Его преследовал, больного.
Губил и душу он и плоть,
Жену с детьми считал врагами,
Весь скот успел переколоть
На жертвы, знаете вы сами.
Всё он молил Хахматский Крест
Простить вину его большую...
Придет — и хлеба не поест,
Как понапрасну ни прошу я.
Сидит, бывало, одинок,
Грустит и плачет, и нередко
«Какой я клад не уберег!» —
Бормочет, словно малолетка.
И всё на кровле по ночам
На небеса глядит сурово...
Уж заходить не стали к нам:
Зайдут, а он ни с кем ни слова.
Гостей он видеть не хотел,
А нас подавно в грош не ставил,
И весь от горя поседел,
И нас намучиться заставил.
Бывало, я слежу тайком,
«Какая, — думаю, — причина,
Что он всегда особняком,
Как ни один в селе мужчина?»
Да кто ж такого разберет?
Но было, Сандуа, похоже,
Что он оплакивал народ,
Да и себя с народом тоже.
«Чем помогу отчизне я?» —
Себя он спрашивал, и стала
Ему ненужною семья,
Чего от века не бывало.

С а н д у а

Я это слышу в первый раз.
Ты удивляешь нас, сестрица.

Ведь славный Миндия для нас
С одним лишь солнцем мог сравниться.
Поверить, право, нету сил
Таким неслыханным наветам.
Ведь сам-то он не говорил
Своим товарищам об этом.
Какой же клад, не смыслю я,
Он потерял, скажи на милость?
А может быть, и впрямь семья
Перед беднягой провинилась?
Едва ль из наших кто мужей,
Какую б он ни принял муку,
Поднять на маленьких детей
Решится собственную руку.

М з и я

Клянусь детьми! (И в этот миг
Она печально и уныло
На головы детей своих,
Рыдая, руки положила.)
Клянусь детьми, что много раз
Твердил он нам, как бесноватый:
«Я душу продал ради вас,
Отступник, господом проклятый!
Я бил зверей, рубил дрова,
Считал возможным это дело,
И понемногу вся трава
Передо мною онемела.
И замолчали вдруг цветы,
Столь говорливые весной,
И звезды больше с высоты
Уж не беседуют со мною.
Всё то, что бог в меня вложил,
И всемогущество и знание, —
Всё потерял я, всё забыл,
Всего лишился в наказанье».
Кричал он в бешенстве, что я
Во всем виновна, и, бывало,
Хватался за курок ружья,
И я в испуге убегала.
И всё ж была надежда в нем,
Молился он и верил в чудо,

И нас в безумии своем
Не загубил еще покуда.

С а н д у а

Коль ты причиною была
Его душевного разлада,
За эти черные дела
Тебе язык отрезать надо.
Связать бы дуру, да в костер
За то, что мужа загубила!
Ведь нам опорой до сих пор
Служила Миндиева сила.

М з и я

Конечно, коль виновна я, —
И я достойна наказанья.
Но у него же есть семья,
А ей нельзя без пропитанья.
Не вижу, право, я вины
В том, что о детях я радела.
А что касается войны,
Так женское ли это дело?
Об этом должен думать он,
На то мужчина и мужчина...
А от меня какой урон?
В каком проступке я повинна?
Коль нет греха в душе моей,
Так мне ль страшиться наказанья?
А за грехи других людей
Винить какое ж основанье?
Но знал мой муж — не сдобровать
Ему, и нас измучил тоже...
Приснился сон мне. Как понять
Его, не знаю я, о боже!

С а н д у а

Ты Расскажи нам, не таись,
Какое было сновиденье?
Еще, быть может, нашу жизнь
И сохранит нам провиденье.

М з и я

Приснилось, Сандуа, увы,
Мне разных ужасов немало,
И вся я с ног до головы
Во сне от страха трепетала.
Как дэв, летел с горы поток,
Тяжелодышащий и грозный,
И за собою камни влек,
По грани падая откосной.
И трепетали склоны гор,
И скал раскальвались пики,
И вод стремительный напор
В поток их сбрасывал великий.
Трещала каждая скала,
Подобно сотне самопалов,
И с неба капала смола
И застывала средь обвалов.
А воды всё сильнее текли,
И был потоп неиссякаем,
И крики слышались вдали:
«Спасите! Тонем! Погибаем!»

Гляжу: действительно, в волнах
Несет людей и скarb домашний,
И рассыпаются во прах
Водой разрушенные башни.
Сперва еще казалось мне,
Что стороной пройдет угроза,
Однако даже в вышине
Сорвало домик наш с откоса.
Сорвало, бросило в волну,
И кровь моя застыла в жилах.
Хочу кричать: «Беда! Тону!» —
А голоса подать не в силах.
Прижала к сердцу я детей,
Закрыла бедных покрывалом,
Стараюсь с ними поскорей
К береговым прибиться скалам.
А на земле стоит вдали
Толпа какого-то народу,
И только я коснусь земли,
Меня обратно гонит в воду.

«Иди назад, — кричат вокруг, —
Не спорь с господним изволением!»
Вдруг вижу: Миндия-супруг
Плывет, подхваченный теченьем.
И на меня он посмотрел
И ласково промолвил: «Мзия,
Назначен смертный мне удел
За то, что сбился со стези я.
Прости, что я тебя бранил,
Что всю измучил напоследок.
Храни, куда хватит сил,
И не давай в обиду деток!»
Как только я не умерла,
Измаявшись во сне глубоко!

С а н д у а

Спасись ты, значит, не смогла,
И унесло тебя потоком?

М з и я

Увы, унес меня поток,
Унес и мужа-несчастливца...

С а н д у а

Храни нас, боже, от тревог,
Не дай врагу возвеселиться!

Ж е н щ и н ы

(вместе)

Идут! Идут! Смотрите все!
Идут, благослови их, боже!
И Миндия во всей красе
Со знаменосцем едет тоже.
Как восходящая луна
Супруг твой, Мзия. Погляди-ка!

П е р в а я ж е н щ и н а

Сыночки наши! Вся страна
Вас любит с мала до велика.
Пусть материнская любовь
Надежной будет вам защитой!
Да не прольется ваша кровь,
Да сгинет враг, в бою разбитый!

Вторая женщина

Вон, посмотрите, мой меньшей
Гарцует с витязями рядом.
Пусть сердце матери родной
Летит за доблестным отрядом!

Первая девушка

Да будет с Тотией моим
Любовь сестры его, смуглянки!
Сперва он был неразличим,
Теперь узнала по осанке.
Под ним играет жеребец,
Грызет железное удило...

Вторая девушка

Ушиша тоже молодец,
Его б ни с кем я не сравнила.
Как волк, его яритя конь!
Коль дело до меча коснется,
Попробуй-ка героя тронь —
О щит оружие разобьется!

Первая девушка

Ах, видеть братца мне невмочь,
Когда он, дерзкий, рвется к бою!
Взгляну — и вмиг отпряну прочь,
И в ужасе глаза закрою.

Вторая девушка

Мне, Зекуа, наоборот,
Отвага милого дороже,
Чем избавленье от забот,
Чем отдыхающему ложе.

Первая девушка

Ну, Швена, кто ж настолько глуп,
Что славы брату не желает?
Однако девушка как труп,
Когда любимый погибает.

Вторая девушка

Кто отличится в эти дни,
Тот и прославится отныне.

Женщины

(вместе)

О боже, воинов храни,
И вы, хевсурские святыни!
Пусть невредимыми опять
Вернутся воины в селенье!

Не трудно женщин нам понять —
У каждой столько треволнений!
Нам разгадать не трудно их,
Людская такова природа:
Всяк за сородичей своих
Страшится, коль пришла невзгода.

XI

Вот на возвышенной поляне
Хевсурский строится отряд.
Доспехи в солнечном сияньи
На каждом воине горят.
На юных лицах нетерпенье, —
Хевсурам надобно решить,
В горах ли дать врагу сраженье,
Или внизу его разбить.

Сошли с коней. На рукояти
Руками дружно опершись,
Сыны Гудани и Хахмати
Глазами в Миндию впились.
Он предводитель их старинный,
Творит он в битвах чудеса.
Но он молчит. И воедино
Слились хевсуров голоса.

Воины

Ты знаешь, Миндия, сколь дорог
Дружине мудрый твой совет.
Чтоб посрамлен был снова ворог,
Скажи нам слово, змеед.

Миндия

Я вам, хевсуры, не советчик,
Переменилась жизнь моя.
Теперь в кровопролитных сечах
Уж ничего не смыслю я.
Здесь предо мною вся дружина,
Пусть каждый выскажет словцо.
Свяжите мысли воедино,
И вывод будет налицо.
Я буду биться одиноко, —
Затем и вышел я в поход.
Ведь в предводители без срока
Не выбирал меня народ.

Воины

Да сгинет тот на ратном поле,
Кто, презирая власть твою,
По собственной посмеет воле
Переступить хоть шаг в бою!
Да будет проклят он святыней,
Пусть рот ему зальет смола!

Миндия

Эх, не хотел бы я отныне
Решать военные дела.
Но коль вы сами захотели,
Извольте, вот он, мой совет:
Кистин в Отравленном Ущелье
Мы повстречать должны чуть свет.

И сразу недовольный шепот
В рядах хевсурских полетел.
Подсказывает людям опыт,
Что этот выбор неумел.
Но что отряду остается,
Коль дал он клятву? Ничего!
Он должен, выбрав полководца,
Приказа слушаться его.
Священной клятвою он связан,
Чужому подчинен уму,
И биться насмерть он обязан
Там, где указано ему.

И распростерлось в небе знамя,
И стая соколов взвилась,
И копыта скрылись, остриями
В сиянии солнечном светясь.

ХИ

Уже два дня, как за горой
Не умолкает грохот боя.
Сражаться тиграм не впервой,
Увидев львов перед собою.
Кровавая простерлась нить
С горы до рощицы зеленой.
Двум победителям не быть,
Один здесь ляжет побежденный.

Но вот в дыму пороховом,
Обеспокоены и хмуры,
Связав кого-то башлыком,
Из битвы вырвались хевсуры.
Через соседний перевал
С трудом они перевалили
И, бросив пленника у скал,
В сердцах над ним заговорили.

Хевсуры

Скажи, куда тебя несет?
Уж не житье ли надоело?
Не видишь разве, сумасброд,
Какое там творится дело?
Зачем ты лезешь в самый ад,
Не управляя нашим войском?
Неужто ты погибнуть рад
В самозабвении геройском?
Всегда мы бились, словно львы,
Топча кистинские дружины,
Теперь же, Миндия, увы,
Одолевают нас кистины.
Однако следует помочь
Товарищам на поле боя.

Уж день к концу, и скоро ночь, —
Напрячь нам силы нужно вдвое.

И, обнажив свои клинки
И копыя ухватив стальные,
Умчались в битву смельчаки,
Врагом теснимые впервые.
На грани смерти и житья
Бывают страшные мгновенья,
Но если воин не дитя,
О чести помнит он в сраженьи.
Придется робкому надеть,
Расставшись с чохой, бабье платье,
Мужскую шапку снять и впредь
Одни выслушивать проклятья, —
Придется, если только он
Не устоит перед врагами. . .

Рыдает пленник, изнурен,
Скрежещет яростно зубами.
Пытается он развязать
Друзьями скрученные руки,
Ослабевает и опять
Лежит в пыли, исполнен муки.
Он жаждет смерти там, в бою,
С родными витязями вместе, —
Уж им не жить в родном краю,
Они падут на поле чести!

И вот сошла на землю ночь.
И в эти грозные минуты
Несчастный пленник сбросил прочь
Полуразвязанные путы.
Вскочил с земли он еле жив
И застонал в изнеможеньи:
Пред ним, полнеба осветив,
Пылали ближние селенья.
И всё, что там произошло,
Вдруг стало ясно до предела,
И неподвижное чело
Его внезапно побледнело.
И слезы высохли в очах,

И слабость прежняя пропала,
И только сердце, как очаг,
Смертельным пламенем пылало.
И, не жилец в родном краю,
Клинок он выхватил старинный
И в грудь могучую свою
Вонзил его до половины.
И кровь взметнулась, как родник,
И над горой, жилищем тура,
Луна, подняв печальный лик,
В лицо уставилась хевсура.
И безутешна и бледна,
Открыв туманные зеницы,
Как причитальщица, она
Глядит на труп самоубийцы.
И веет легкий ветерок
На окровавленное жало,
Где соком пурпурным клинок
Мужское сердце орошало.
Лишь на мгновение он задел
То жало с песней мимолетной,
И снова в горы полетел,
Привольный, легкий, беззаботный.

1901

ДЗАГЛИКА ХИМИКАУРИ
Посвящается Илье Чавчавадзе

I

Пускай вокруг, подобно буре,
Доспехи ратные гремят, —
Родимый кров Химикаури
Огнем отчаянья объят.
Лежит хозяин на постели,
Угрюм, печален, недвижим,
Как будто укусное зелье
Поставил кто-то перед ним.
Хевсур давно уже не хочет
Ни солнца видеть, ни луны.
Впервые он клинок не точит
При наступлении войны.

Клубами траурные тучи
На землю падают с высот.
Они унылы и тягучи,
Их что-то давит и гнетет.
Мяется сердце их, скрывая
Недуг смертельный в глубине;
Томит их горечь роковая,
Неразличимая извне.
Они росую не сочатся,
Они громами не гремят.
О чем же, бедные, томятся?
Зачем так горестно молчат?

II

В Ликоки говор и волнение,
Бежит народ со всех сторон.
Что взволновало все селенье?
Чем люд хевсурский возмущен?
Ужель народу нужно снова
За прадедовский браться щит?
Неистойей котла пивного
Любое сердце здесь кипит.

Пришло посланье из долины —
Царя Ираклия письмо:
«Хевсуры, недруг наш старинный
Грозит надеть на нас ярмо.
Спешите, храбрые, к столице!
Уж занял пригороды враг.
Пришло нам время ополчиться
На этих бешеных собак».

И вся страна забушевала,
Услышав горестную весть.
Проснулись молот и клепало,
Мечи сверкают там и здесь.
Забыв старинные недуги,
Седые деды и дядя
Латают бранные кольчуги,
Усами барсов поводя.
Доят в огромные сосуды
Хевсурки-женщины коров:
К походу должен быть повсюду
Запас довольствия готов.

III

Закутав землю пеленою,
Не вечно тянется зима.
Природа, мертвая зимою,
Весной пробудится сама.
И будет горных вод лавина
В колесах мельницы звенеть,

И отощавшая скотина
Начнет на пастбищах тучнеть.
И на скалу взойдет Гергети,
Вчера бессильный пешеход...
Но часто перемены эти
Дурной имеют оборот.
Превратны судьбы человечьи...
Где очи милого лица?
Еще вчера они, как свечи,
Пылали в сердце молодца, —
Сегодня их потухло пламя,
Как воск, истаяли они...
Где барс, владеющий горами
И чтимый нами искони?
Не он ли в утро золотое
Свой испустил предсмертный хрип
И как герой, на лапах стоя,
Пробитый пулею, погиб?

Туман развеялся в ущелье.
Уж начинается солнце печь.
Громады гор побагровели,
Большие бурки сбросив с плеч.
В Ликокской роще, возле луга,
Стоит собравшийся отряд.
Бойцы-хевсуры друг у друга
Мечи испробовать спешат.
Вздымая морды средь кизила,
Косят глазами жеребцы, —
В ногах скопившаяся сила
Томит их, взятых под уздцы.
По берегам Арагвы шумной,
Спеша с хозяевами в бой,
Отрадно в скачке им безумной
Растратить пыл великий свой.
Но час придет: и конь и всадник
Сдадут — ведь сердце не кремень,
И отрезвится пылкий ратник,
Едва настанет новый день.

А там, на плоских кровлях хижин,
В платках от темени до пят,

Печален, тих и неподвижен,
Хевсурских женщин виден ряд.
Горят их взоры в отдаленьи
Огнем созвездий золотых,
Мольба, любовь, благословенье —
Всё отразилось нынче в них.
«Пошли им, господи, победу!
Верни живыми в отчий дом!
Направь по праведному следу!»
Кто это молится? О ком?

IV

«Ты что замешкался, Дзаглика?
Уж выступать давно пора.
Народ от мала до велика
Собрался в рощице с утра.
Мужчины вышли полным строем,
Лишь ты не вышел, сумасброд!» —
Так разговаривал с героем
К дверям собравшийся народ.

«Скажите, люди, государю,
Что сердце у меня мертво,
Что никогда я не ударю
С мечом на рога его.
Что не могу я встать с постели,
Что заболел я и ослаб,
Что бесполезен я на деле,
Что я и дома хуже баб».

«Клянемся дружбою, Дзаглика,
Ты за нос нас не проведешь!
Решил ты твердо, а спроси-ка,
Что скажет наша молодежь!
Напрасно ты теряешь время,
Часы бесценные губя, —
Известно всем, какое бремя
Лежит на сердце у тебя.
Ты не ребенок, брось печали!
Тебя зовет родная рать».

«Молчите, люди! Что пристали?
Я не желаю воевать.
Я не боюсь ничьей опалы!
Закуйте ноги в кандалы,
Наденьте бабье покрывало
Иль бросьте в воду со скалы, —
Пусть вас одних на поле брани
Ведет сегодня славный путь,
А я поднять не в силах длани,
Чтобы мечом моим взмахнуть».

«Не говори такого вздора!
Ты можешь нашим быть вождем.
Нас не похвалит царь, коль скоро
Мы без тебя к нему придем».

Но тот качает головою,
Не соглашается идти;
Перед дружиной боевою
Стоит, как башня на пути.
И оскорбленные посланцы
Сказали, возвратясь, бойцам:
«Не уломали мы упрямца,
Он не товарищ больше нам.
Он о мече своем томится,
Идти не хочет он в поход».

Чтоб образумить нечестивца,
Других посланцев шлет народ.
Минуя русло горной речки,
Поднялся Бердия в село.
Сверкает меч его насечкой,
Щит громыхает тяжело.
Покрыта ржавчиной от зноя,
Закалена в огне борьбы,
Крутая выя у героя
Как будто ступица арбы.
Его друзья прекрасны тоже, —
Об этом речь была не раз...

«На что всё это, брат, похоже?
Что значит странный твой отказ?»

Из-за меча ты хочешь ныне
Навлечь на нас великий срам.
Возьми мой меч! Клянусь святыней,
Его охотно я отдам.
Ведь он такого же закала,
Как твой франгули. Видит бог,
Был не из лучшего металла
И твой излюбленный клинок.
Возьми, но будь, как прежде, с нами,
Не сокрушай нам дюжих плеч! —
Такими Бердия словами
Молил Дзаглику, вынув меч. —
Представь, что твой клинок старинный
Сломался где-нибудь в бою.
Приди в сознание, будь мужчиной,
Не огорчай страну твою».

«Вовек я не был отщепенцем,
Здоров рассудком я вполне, —
Но надо ж, люди, быть младенцем,
Чтоб позабыть обиду мне!
Коль царь хотел, чтоб я сражался
В его войсках за край родной,
Он никогда б не надругался
Так бессердечно надо мной.
Зачем он отнял у Дзаглики
Его любимый старый меч?
Неужто был в нужде великой?
Иль сердце мне хотел разжечь?
И что он, меч простолюдина,
Для повелителя страны?
Зачем, обиженный невинно,
Я снова призван для войны?
Чем помогу я, безоружный,
Тому, которому служу?
Заране думать было нужно
Об этом, вот что я скажу!
Ведь этот меч мне был дороже
Семьи и дома. Для меня
Он был сокровищем. И всё же
Навеки с ним простился я».

«Всё это так. Но меч отличный
Взамен Ираклий дал тебе.
Дарить плохое неприлично —
Он весь в оправе и резьбе.
Не нужно гневаться на это,
Для ссоры это не предлог!»

И всё же нужного ответа
Добиться Бердия не мог.
Разгневанный не хочет воин
Хевсурскую умножить рать.
Пенять на то, что он расстроен,
Покойная не стала б мать.
Но женщины вмешались в дело.
Одна из бойких тех сорок
Заткнуть всех за пояс умела,
Воркуя, словно голубок:
«Уж ты не баба ли, Дзаглика?
Как говорить еще с тобой?
Хевсуры с мала до велика
Дивятся на поступок твой.
Коль ты сидишь на сеновале,
Как престарелая карга,
Тебе, несчастному, едва ли
Мужская шапка дорога.
Едва ли дорог меч старинный, —
К чему тебе сегодня он?
Петух с повадкою куриной
И безобразен и смешон!»

И тут жена Дзаглики Кмара
Накинулась на муженька:
«Ты меч оплакиваешь старый,
А трусишь сам наверняка.
Какой клинок тебе поможет,
Коль сердце больше не горит?
Бедняга! В бой идти не может,
А сам о мужестве вопит!»

И сердце вспыхнуло Дзаглики,
И, горький жребий свой кляня,
Вскочил он в ярости великой

И привести велел коня.
Пришел конец его недугу,
Другим он сделался совсем, —
Облекся в медную кольчугу,
Надвинул на голову шлем.
И меч какой-то он грошовый
Привесил сбоку и кинжал
С эфесом из кости слоновой
Себе на пояс навязал.
И так промолвил он дружине:
«Пускай лишусь я головы,
Но, войны, клянусь святыней,
Я буду там же, где и вы».

V

Арагва стала полноводной,
И полноводною — Кура.
Струит поток воды холодной
В долину каждая гора.
Какая славная погода!
Сегодня, верные себе,
Бойцы хевсурского народа
Пришли и встали в Дидубе.
Вдали мерцают искры зарев,
Народных бед не перечеть.
В покой, однако, государев
Доходит радостная весть.
И стража двери отворила,
И разом дрогнули сердца:
Лев Грузии, ее светило,
К хевсурам вышел из дворца.
И громовым его раскатом
Многоголосый встретил хор:
«Восторжествуй над супостатом,
Отец долин, родитель гор!»
Внимая кликам ополченья,
Ираклий говорит в ответ:
«И вам, хевсуры, в день сраженья
Желаю славных я побед!
Коль не помогут ваши длани,
Не победить и мне, друзья.

Торжествовать на поле брани
Лишь вместе с вами буду я.
Победа нашего народа
Моей победой будет тож.
Печальна участь морехода,
Коль никуда корабль не гожд». —
«Мы будем драться без пощады,
Чтоб не возрадовался враг!» —
Царю ответили отряды,
Как это принято в горах.
Ликуют храбрые сердцами,
Лишь эхо вторит вдалеке,
И Бердия перед бойцами
Стоит со знаменем в руке.

VI

Имел наш царь обыкновенье
Пред тем, как бросить в бой полки,
У всех бойцов без исключения
В строю осматривать клинки.
Похвальное излишне слово, —
Оружье он отлично знал. . .
Дзаглика мрачно и сурово,
В рядах запрятавшись, стоял.
Завидев молодца, Иракий
Скрыть удовольствия не мог:
«Дзаглика, старый друг, не так ли?
А ну, подай сюда клинок!
Пока сраженье не приспело,
Давай на твой посмотрим меч.
Быть может, ржа его поела
Или из ножен не извлечь?
Надеюсь, так же, как когда-то
В Аспиндзском доблестном бою,
Сегодня, встретив супостата,
Покажешь удаль ты свою.
К мечу ты новому, наверно,
Теперь почувствуешь любовь.
Зачем глядишь высокомерно
И молчаливо хмуришь бровь?»

И царь клинок его из ножен
Рукою опытной извлек.
Глядит, дивясь: на что похож он?
Не деревянный ли клинок?
Клинок и вправду деревянный,
Хотя на месте рукоять!
Что этой выходкою странной
Невежа думает сказать?
Как он посмел, наглец великий,
С таким оружием выйти в бой?
Однако выгоду Дзаглика
Далеко видит пред собой.
Молчит Ираклий, смотрит хмуро.
Ни слова он не говорит.
Дивится войско на хевсура,
Невозмутимого на вид,
И улыбнулся вдруг владыка,
И стороной прошла беда.
«Эй, разыщите меч Дзаглики
И принесите мне сюда!»
Через мгновенье на хевсуре
Любимый меч горит огнем.
«Ну, счастлив ты, Химикаури?
Сумел поставить на своем?
Носи свой меч с великой славой,
Руби неверных наповал,
Не допускай, чтоб враг лукавый
На наши земли посягал!»

Хевсур царю целует руки,
Хевсур царя благодарит;
На меч, с которым был в разлуке,
Глазам не веря, он глядит.
Клинок он к сердцу прижимает,
Как дорогое существо;
Целует, гладит и ласкает,
Как мать ребенка своего.
Проснулся пламень в нем геройский, —
Теперь, наперекор всему,
Не хватит вражеского войска,
Чтобы потешиться ему!

За залпом залп несется, грянув;
 В дыму чернеют груди тел.
 От жаркой крови басурманов
 Песок долин побагровел.
 Вон там — грузинские отряды,
 Здесь — басурман, жесток и лют.
 Войска дерутся без пощады,
 Да и к чему пощада тут?
 Вот прекратилась перестрелка
 И рукопашный вспыхнул бой.
 Клинок — он тоже не безделка,
 Им может действовать любой.
 И всюду крики восхищенья:
 Есть в этом воинстве рука,
 Которая в пылу сраженья
 Врагов сечет наверняка.
 Она врагов сегодня косит,
 Как будто сорную траву.
 Там, где она клинок возносит, —
 Там смерть витает наяву.

И царь Иракий примечает
 Тигроподобный натиск тот.
 Кого ж владыка увенчает,
 Кого сегодня вознесет?
 Кому он скажет, справедливый:
 «Ты был в бою отважней всех?
 Отнять клинок вольнолюбивый
 У храбреца — великий грех!»

Есть слух: несчетною казною
 Бойца Иракий наградил.
 Ружье с насечкой золотою
 За этот подвиг подарил.
 Повсюду толки о хевсуре —
 Откуда он да кто такой?
 Дзаглика он Химикаури,
 Неустрашимый наш герой!

ГИЛА И КВИРИСА

(*Рассказ пастуха*)

Молодой бык со старым
волом не уживается.

Народная примета

I

Мой Гила, немощный и лысый,
На горном пастбище глухом
Столкнулся с бешеным Квирисой —
Могучим Гивиным быком.
На горном пастбище высоком,
Среди собратий великан,
Квириса водит жарким оком,
Красив, как утренний туман.
Он, семилеток, в полной силе,
Он не испробовал ярма. . .
Куда уж с ним тягаться Гиле!
Погибнет Гила задарма!

Рога у Гилы неплохие,
Они светлее хрусталя,
Но след ярма лежит на вые,
Как вековечная петля.
Всю жизнь свою в упряжке плуга
Провел мой бедный старый вол.
Чтоб подкормить за это друга,
Его на отдых я привел.

Но разве даст бугай проклятый
Волу спокойно отдохнуть?
Недаром Гиви тороватый
Любил Квирисой прихвастнуть:
«Он всех быков побил в округе,
В сраженьи он непобедим.
Как перед буйволом, в испуге
Волы бессильны перед ним».

Квириса ходит, бьет копытом,
Рогами грозно шевеля.
Над горным пастбищем изрытым
Взлетает комьями земля.
Песком и глиною измазан,
Трясет косматой он башкой
И в продолженьи дня не раз он
Предпринимает лютый бой.
И в будний день, и в день воскресный,
И в непогоду, и в тепло,
Как властелин округи местной,
Глядит он сумрачно и зло.
Как грозный хан, на всякий случай
Он к землям тянется чужим
И, поднимая рев могучий,
Зовет быков сразиться с ним.
Таким неистовым громилой
Пришел он к хижине моей
И, повстречавшись с бедным Гилой,
Решил сразить его, злодей.
Вокруг него качался свежий
Тростник, и так он был высок,
Что здесь к нему любой проезжий
Коня привязывать бы мог.

II

Жуя щавель, усталый Гилад
Глядел спокойно на быка.
Его нимало не смутило,
Что тот ревет издалека.

Бороться не было желанья,
Хотя когда-то, полный сил,
Мой славный вол из состязанья
Всегда героем выходил.
Теперь не то: уж он немолод,
Природа к старости сдала.
И днем и ночью, в зной и в холод
Была работа для вола.
Родной земле он отдал силу,
В ярме шагая средь полей...
Но кто о том спросил бы Гилу?
Уж не Квириса ли злодей?

Шальные выпучив глазища,
Дробя копытами тростник,
Ополоумевший бычище
Перед волом моим возник.
И, верно, бог затмил мой разум,
Коль я не вовремя смекнул,
Что обуздать сумел бы разом
Его воинственный разгул.
Гляжу: уж он стоит над Гилой
И роет землю, иступлен,
Привычный к дракам, тупорылый,
Рассвирепевший, как дракон.

И Гила с ласковой мольбою
Ему как будто говорил:
«Оставь, прошу, меня в покое,
Во мне и так немного сил.
Измученный ярмом дубовым,
Я стар уже...» Но кто ж быка
Утихомирит здравым словом?
Ему ли жалко старика?
Со вздохом Гила приподнялся,
Рога столкнулись, грянул гром,
И воздух вдруг заколебался,
И горы вздрогнули кругом.

Вопрос победы не впервые
Решают кровные враги:

Один из них поднимет выю,
Другой согнется в три дуги.
Один уйдет, гордясь победой,
Другой признает свой позор.
Так разрешится в битве этой
Животной силы древний спор.

Теснят противники друг друга,
Не отступает ни один.
Кого ж прославит здесь округа?
Кто будет стаду господин?
Пусть у бугая больше силы, —
Мой Гила опытом богат!
И всё же под натпором Гилы
Не отступает супостат.
Едва успеет отдышаться —
Опять несется, зол и лют.
Нет, с молодежью не тягаться
Волу, носившему хомут!

«Эх, люди, чести мы не знаем!
Уж не с ума ли вы сошли?
Когда же старые с бугаем
Волы соперничать могли?
Зачем быка вы не пугнули?
Гоните прочь его тотчас!» —
Так говорил нам Раибули,
Старик, сидевший возле нас.

Но тут взяла меня обида,
Что уступает вол быку,
И в злобе Гилу-инвалида
Хватил я палкой по виску.
И по сей день я вспоминаю
Поступок этот со стыдом,
И как ни тяжело мне, а знаю,
Что я наказан поделом.
Я возмечтал тогда, не скрою,
Что победит мой бедный вол.
Увы, сравнится ли с горою
Покрытый сумерками дол!

III

И безграничную обиду
С тех пор мой Гила затаил.
Покинул стадо он, и с виду
Стал неприветлив и уныл.
Всё смотрит в сторону куда-то,
Не щиплет горную траву,
И жизнь его, клонясь к закату,
Оскудевает наяву.
Не утолят его страданья
Теперь ни солнце, ни луна.
В печальный мир воспоминанья
Его душа погружена.
Он помнит ангельские речи,
Когда по воле высших сил
К его рогам большие свечи
Посланец божий прилепил.
И непостижен и нечаян,
Шепнул он на ухо тогда:
«Блажен, о Гила, твой хозяин,
Тебя взрастивший для труда!»

Эх, не узнать мне больше Гилу!
И худ, и жалок, и сердит,
Бедняга дышит через силу,
В глаза мне больше не глядит.
Уж он не лижет больше соли
И не приходит под окно...
Вола мне жалко поневоле,
Да, видно, так уж суждено!
Как утешать его я стану,
Ведь он — немое существо!
Чем залечить сумею рану,
Коль сердце ранено его?

Когда он горестно вздыхает,
Понуриив голову свою,
Слеза мне очи застилает,
Тоска терзает грудь мою.
Однажды я запряг бедняжку,
Чтоб испытать его в труде,

Но он не вытянул упряжку
И лег, вздохнув, на борозде.
Склонил на пахоту он выю,
Сложил ярмо свое в пыли,
И как ни бился я — впервые
Не встал мой труженик с земли.

IV

С тех пор лишился я покоя,
И только стоит мне заснуть,
Встает мой Ги́ла предо мною,
Рога в мою уставив грудь.
Бодает он меня рогами
И говорит: «Хозяин мой,
Зачем своими ты руками
Навеки отнял мой покой?
Тебе я отдал всё здоровье,
Перепахал твои поля,
Всю жизнь трудился я с любовью,
Чтоб расцвела твоя земля.
Зажег я твой очаг домашний,
Наполнил хлебом я гумно,
А мне ведь впроголодь над пашней
Работать было суждено.
С утра до вечера, измаян,
Я делал всё, что только мог...
За что же ты меня, хозяин,
На старость горькую обрек?»

И он не лжет, не лжет, бедняга,
Он правду, люди, говорит.
Для моего он отдал блага
Всё то, чем каждый дорожит.
Напрасно Ги́лу я ласкаю,
Напрасно я его молю, —
Сдавили грудь мою, сверкая,
Рога, подобны хрусталою.
Я говорю: «Не думай, милый,
Что только сильному почет.

Теперь моим достойным Гилой
В селе гордится весь народ.
Надежда бедных и богатых,
Кормилец малых и больших,
Не плачь, мой Гила, об утратах,
Забудь о глупостях моих!»
Но понапрасну я стараюсь:
До сей поры во тьме ночной,
Рогами в сердце упираясь,
Стоит мой Гила надо мной!

1908

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Амирани. *Амирани* — грузинский Прометей, герой народного эпоса. Богатырь сказочной силы, он хотел принести народу избавление от злых духов, дэвов и драконов, и вел с ними неутомимую борьбу; похитив с неба огонь, был прикован богами к Кавказскому хребту. *Черемша* — дикорастущий чеснок. *Дэвы* (деви) — в грузинском фольклоре исполинские злые чудовища.

Горы спят. *Туры* — высокогорные дикие козлы с большими рогами. *Гергети* — ледник на горе Казбек. *Бóрбала* — горная вершина в истоках реки Алазань, возвышается над Пшав-Хевсуретией, Тушетией и Кахетией.

Гиги. *Гиги* — грузинское мужское имя. *Лурджа* — распространенная в Грузии кличка коня сизой масти (лурджи — по-грузински: синий). *Франгули* (или франкский меч) — грузинское название меча особой формы, занесенного в Грузию из Европы (генуэзцами — «франками») в средние века, во время крестовых походов. Такие мечи были распространены в Пшав-Хевсуретии. *Лухуми*, *Джавара*, *Тинибег*, *Махаре* — пшавские имена. *Хевисбери* — жрец и руководитель пшавской общины (см. подробнее ниже, стр. 314).

Стон бесконечный. Ср. выше стихотворение «Амирани».

Жалоба меча. *Горда* — прославленный оружейный мастер, по имени которого называлось изготовленное им оружие. *Шамхор* — древний город в Закавказье. В 1203 г. грузинское войско царицы Тамары нанесло при Шамхоре решительное поражение иранцам. *Тамара* (Тамар) (1184—1212) — грузинская царица; во время ее правления феодальная Грузия достигла наивысшей политической мощи и культурного расцвета. Грузины-горцы чтили Тамару как святую. *Картвел* — грузин.

Утешение. *Картлийцы*, *кахи* и *имеретины* — жители различных районов Грузии: Карталинии, Кахетии и Имеретии. *Абахезы* — абхазцы.

Бакури. *Бакури, Элизбар* — грузинские мужские имена. *Его* — селение в Пшавии. *Гулхадарцы* и *дидойцы* — представители мусульманских горских народностей, издавна враждовавших с грузинами

Берикаули. *Берикаули* — грузинское мужское имя.

Осень в горах. *Дарбаз* (дарбази) — грузинское жилище, сохранявшее свое особое устройство с древних времен. *Хинкали* — грузинское национальное блюдо, нечто вроде пельменей. *Чонгури* — грузинский народный струнный инструмент. *Сазандар* — народный певец в Грузии. *Рача* — один из горных районов западной Грузии. *Таризл* — красавец витязь, герой поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». *Хорунжий* — один из командирских чинов в казачьем войске. *Чито, Этури* и *Дуга* — женские имена. *Шайтан* — черт, дьявол. *Мукосеи* — рабочие, просеивающие муку.

Памяти Давида Гурамишвили. *Гурамишвили* Давид (1705—1792) — выдающийся грузинский поэт, большую часть жизни проведший на Украине, автор поэм «Бедствия Грузии» и «Веселая весна» и ряда лирических стихотворений. *Шота* — Руставели, великий грузинский поэт XII века. *Лело* — игра в мяч. «Пронести лело» — довести дело до победного конца.

Письмо солдата-пшава. *Лашари* — грузинский царь Лаша Георгий IV (1195—1222), сын царицы Тамары. Горцы отождествляли его со св. Георгием-Победоносцем. *Архалук* — мужская одежда, принятая на Кавказе, вроде халата.

Завещание. *Бараташвили* Николоз (1817—1845) — выдающийся грузинский поэт-романтик, автор знаменитого стихотворения «Мерани». *Мерани* — грузинский Пегас, сказочный конь — символ поэтического вдохновения.

ПОЭМЫ

Гоготур и Апшина. В одном из писем, опубликованном в 1914 г., Важа Пшавела следующим образом говорит о соотношении своей поэмы с народно-поэтическим преданием: «Поэма «Гоготур и Апшина» почти лишена характера народной легенды. Этот Гоготур действительно жил в XIX столетии в селе Копча. Был богатырского телосложения, красив и обладал огромной силой, но был кроток и миролюбив. Без крайней необходимости не проявлял своей силы. Был одиноким, но воевал ли когда-либо в своей жизни — неизвестно. Плоская каменная глыба, подобная могильной плите, которую он притащил, до сих пор валется у ниши Копалы <см. ниже. — *Ред.*> и настолько тяжела, что двум мужчинам трудно ее перевернуть. В пору своей юности я часто тягался с этой Гоготурской глыбой, пытаюсь обнаружить в себе еще большую силу. Попытка, разумеется, была тщетной. Никакого столкновения у Гоготура с хевсуром Апшина не было. По преданию, Гоготур поймал в воровстве двух хевсуров. Обоих связал и привел к себе домой. Крикнул жене, чтобы она поставила греть воду и приготовила со-

бачью похлебку. По этому поводу он вступает в пререкания с женой, но наконец она исполняет приказание мужа — согревает воду и сыплет туда отруби. Гоготур эту похлебку выливает в собачье корыто, ставит перед хевсурами и говорит им: «Лакайте эту собачью похлебку». Вот все, что говорит предание, и отсюда родилась та поэма «Гоготур и Апшина», которую вы читаете в книгах» (цитир. по статье Ал. Абашели в книге: Важа Пшавела. Поэмы. М., 1935, стр. 113—114).

I. *Бло* — селение в северной Хевсуретии. *Хевсуры* — грузинь-горцы. Хевсуретия расположена на обоих склонах главного Кавказского хребта: на северном склоне, в верховьях притоков Терека Ассы и Аргуны, лежит Пирикетская (потусторонняя) Хевсуретия, а на южном склоне, в бассейне Хевсурской Арагвы — Пиракетская (посюсторонняя) Хевсуретия. *Пандури* — грузинский народный струнный инструмент.

II. *Франкский меч*, или *франгули* — (см. выше, стр. 311). *Франкский* — европейский (французский). *Кистины* — грузинское наименование ингушей, соседившей с хевсурами народности горцев-мусульман. Хевсуры и кистины ожесточенно враждовали между собой. *Чоха* — грузинская мужская верхняя одежда, вроде черкески.

III. *Арагва* — река в восточной Грузии; большинство рек ее бассейна также называются Арагвами: Пшавская Арагва, Хевсурская Арагва, Белая Арагва, Черная Арагва и т. д. *Копала* — одно из главных и древнейших полуязыческих святилищ в Пшавии, воздвигнутых в честь мифического богатыря Копалы, по прозвищу «Старик», который, согласно народному преданию, вместе со своими друзьями Яхсартаном и Пиркушем истребил злых чудовищ-дэвов. Души убитых богатырями дэвов превратились в чертей, а сами богатыри — в ангелов. По мотивам этого предания Важа Пшавела написал две поэмы — «Копала» и «Копала и Яхсартан» (первая из них вошла в наше издание). *Камень Копалы* — огромный камень на берегу Пшавской Арагвы, по преданию принесенный богатырем Гоготуром к святилищу Копалы. *Лурджа* — см. выше, стр. 311. *Хахматский Крест* — почитаемая хевсурами моленная, воздвигнутая в честь св. Георгия в селении Хахмати. Для правильного понимания верований грузин-горцев важно учесть следующее. Крест для них это, как правило, не крест в нашем понимании, а икона («хати»). Так же называется и моленная, в которой помещена икона. Так как религией грузин-горцев было христианство с сильными пережитками древнего язычества, иконы подчас наделялись ими свойствами идолов. В представлении горцев каждая икона — это отдельное высшее существо. Так, например, в Пшав-Хевсуретии существовало большое количество икон св. Георгия, и все они действовали независимо друг от друга и зачастую даже вопреки друг другу. Общее наименование крестов-икон и молелен, в которых они помещались, — «*Сыны господни*». Среди них существовала своеобразная иерархия. Главными святынями считались так называемые общие иконы: для пшавов — Лашарский Крест и икона Тамары, для хевсуров — Гуданский Крест. За ними следовали иконы — святыни отдельных общин: Копала, Яхсартан, Наквалеба и др. Самыми младшими считались иконы-покровительницы отдельных селений, так называемые «Адгилис-дэды». Горцы счи-

тали себя подданными-вассалами разных икон. Они приносили своим «повелителям» жертвы; кроме того, в пользу святых производились своеобразные сборы — скотом, зерном и деньгами. Так, например, иконе Тамары, которую считали иконой-исцелительницей, «царицей-лекарем», дополнительно жертвовали по одному барану «на расходы по лечению»; Лашарскому Кресту дополнительно приносили овес (корм для коня) и т. д. Кроме того, «сыны господни» владели полями, виноградниками, скотом; всем этим имуществом распоряжались хевисбери (старосты-жрецы, руководители горских общин). *Хурджин* — переметная сума. *И серебра с ножон кинжала Апшина в водку наскоблил...* — один из обрядов побратимства среди горцев.

IV. *Мамука*, *Миндия*, *Хирчла* — хевсурские мужские имена. *Дидэба* — молитва, произносимая хевисбери при жертвоприношении. *Хевисбери* — главный служитель культа при молельне-Кресте, он же руководитель общины. Хевисбери назначались пожизненно, «по велению Креста», которое сообщалось народу кадагами (прорицателями). Главой пшавских хевисбери был старейший по возрасту «тавхевисбери», состоявший при Лашарском Кресте. Он же хранил Лашарское знамя (дроша), которое в бою нес перед войском. Хевисбери имели помощников — дастуров, избиравшихся сроком на один год.

Алуда Кетелаури. I. *Шатиль* — селение в Хевсуретии *Кистины*, *кисты* — см. выше, стр. 313. *Архотский перевал* — горный перевал, соединяющий Северную Хевсуретию с Южной. *Франгули* — см. выше, стр. 311. *Галгайцы* (гилгойцы) — кистины, жители местности Гилго. *Гуданский Крест* — главная молельня хевсуров в селении Гудани (см. выше, стр. 313).

II. *Хорасанский меч* — сделанный в Хорасане, одной из областей Ирана. *Имеда* — хевсурское мужское имя. *Башня Иеды* (Имеди) — старинная башня в селении Гуро. *Ардотский* — от Ардоти (Ардотис-Цхали), реки в Северной Хевсуретии. *Сыны господни* — см. выше, стр. 313. *Плеяды* — созвездие.

V. *Хевисбери* — см. выше, стр. 314. *Дидэба* — молитва.

VI. *Крест* — см. выше, стр. 313.

Копала. I. *Копала* — см. выше, стр. 313. *Дэвы* — см. выше, стр. 311.

II. *Дягиль* — травянистое растение с высоким стеблем. *Господние сыны* — см. выше, стр. 313.

III. *Гергети* — ледник на склонах Казбека. *Бегела* — по народному суеверию, царь дэвов.

IV. *Ростом* — герой «Шах Наме», поэмы знаменитого иранского поэта Фирдоуси, а также многих произведений грузинского фольклора («Ростомиани» и др.).

Раненый барс. *Адгилис-дэда* — буквально: «Мать местности», в представлении грузин-горцев высшее существо, охраняющее определенное селение или местность. *Бандули* — кожаная обувь горцев с подошвой, сделанной из кожаной тесьмы (чтобы нога не скользила на скалах). *Цриапи* — «кошки», железные приспособле-

ния, прикрепляемые к подошве, чтобы нога не скользила на горном склоне. *Мать Земли* — Адгилис-дэда (см. выше). *Борщевик* — род полевого растения. *Тварели* — хевсурское мужское имя. — Рассказ Важа Пшавела напоминает известную древнеримскую легенду об Андрокле, который, встретив в пустыне хромающего льва, вынул из его лапы занозу; в благодарность за это лев в течение трех лет служил Андроклу и делился с ним своей добычей (у легенды этой есть окончание, которое уже не имеет отношения к сюжету поэмы Важа Пшавела).

Этери. Поэма написана по мотивам грузинского народного эпоса «Этериани». *Этери* — грузинское женское имя.

I. *Копёр* — дикорастущий укроп.

II. *Джейран* — кавказская газель. *Гишер* — агат.

III. *Гурген* — грузинское мужское имя.

IV. *Спасалар* — военачальник, полководец. *Шере* — грузинское мужское имя. *Визирь* — титул сановника в Иране и на арабском Востоке.

IX. *Каджи* — по народному суевию, злые человекоподобные существа, чародеи, враждебные человеку.

X. *Шоти* — грузинский хлеб; имеет плоскую, удлинненную форму.

XI. *Чоха* — см. выше, стр. 313.

Бахтриони. *Бахтриони* — старинная крепость в Кахетии (восточная Грузия), на левом берегу реки Алазань. В XVII веке, когда Кахетия была захвачена иранским шахом Аббасом I, в Бахтриони стоял сильный иранский гарнизон. В 1659 г. в Кахетии под предводительством влиятельных феодалов Бизины Чолокашвили и братьев Шалвы и Элизбара Кснис-Эристави вспыхнуло восстание против чужеземцев-поработителей. Повстанцы, одержав победу, изгнали иранцев и их союзников-туркмен. В ходе восстания поддерживавшие кахетинцев грузины-горцы (пшавы, хевсуры и тушины) внезапно захватили крепость Бахтриони, служившую одним из оплотов иранского владычества в Кахетии. Грузинский народ в своих песнях сохранил память о героях, принимавших участие в нападении на Бахтриони. Особенно разносторонне этот исторический эпизод отражен в пшаво-хевсурском фольклоре. Лухуми, Зезва, Квирия, Лела — все это собирательные имена героев и героинь, которые боролись с врагом и большей частью пали на поле брани. Историк грузинской литературы указывает: «Трудно заочно определить, насколько интенсивной обработке подверг фольклорный материал Важа Пшавела в своей поэме «Бахтриони». Стихотворный размер, которым поэт пользуется, лексика, монументальные образы, наконец идейный фон и моральная тенденция поэмы, если вообще можно говорить о моральной тенденции там, где она выражена так непринужденно, все это указывает на близкое родство поэмы с народной поэзией. Несмотря на то что в поэме Важа Пшавела отобразено конкретное историческое событие, она имеет какой-то надисторический, отчасти и мифологический характер» (Г. Кикодзе. Предисловие к «Бахтриони» в русском переводе В. Державина. Тбилиси, 1943, стр. 5).

I. *Алазань* — река в Кахетии, левый приток Куры. *Пиримзе* — буквально: «солнцеликий», название горного цветка; употребляется в грузинской речи в применении к красивой женщине.

II. *Хевисбери* — см. выше, стр. 314.

III. *Крест* — см. выше, стр. 313. *Хошари* (Хошарская гора), *Апхушо*, *Матура* — селения в Пшавии. *Тушетия* — область горной Грузии, расположена на северном склоне Главного Кавказского хребта. *Кахетия* — часть Восточной Грузии; в течение нескольких веков была самостоятельным царством. *Тушины* — грузины-горцы, жители Тушетии. *Зезва* — тушинское мужское имя. *Муллы поют у алтарей*... — то есть священнослужители мусульман-захватчиков, вторгшихся в христианскую Грузию. *Джугур*, *Саба*, *Иванэ* — мужские имена. *Ахметская святыня* — молельня, почитавшаяся жителями селения Ахмети, в Кахетии. *Лашари* — здесь грузинский царь Лаша Георгий IV (см. выше, стр. 312). *Лашарела* — ласкательно-уменьшительная форма от Лашари.

IV. *Лашарский Крест* — главная молельня пшавов, воздвигнутая в честь царя Лаша Георгия IV. В одном из своих этнографических очерков Важа Пшавела утверждал, что на этом месте (Лашарская гора) Лаша Георгий построил храм в честь св. Георгия и подарил храму икону этого святого. Впоследствии пшавы спутали дарителя с иконой и обожествили его. *Рошки* — селение в Хевсуретии. *Амга* — селение в Северной Хевсуретии, в Архотском ущелье. *Гуданцы* — жители хевсурского селения Гудани. *Чормешави* — селение в Хевсуретии. *Гулойцы* — жители хевсурского селения Гули. *Хахматцы* — жители хевсурского селения Хахмати. *Лухуми*, *Махинцаури*, *Габидоури*, *Цабаури* — пшавские мужские имена и прозвища.

V. *Кадаги* — по народному суеверию, лицо, посредством которого иконы («Сыны господни») возвещают свои желания. Через этих прорицателей горцы обращались за «советом» к иконам по всем важным вопросам — о войне и мире, о назначении хевисбери и т. п. *Лурджа* — см. выше, стр. 311.

VI. *Тамара* — см. выше, стр. 311. Рядом с Лашарской горой, на горе Геле, расположена молельня в честь царицы Тамары. Эти две молельни — Лашарский Крест и Тамарис-хати — пшавы называют «братом» и «сестрой» («Моде-модзуме»), так как, по убеждению горцев, Тамара приходилась Лаша-Георгию не матерью (как было на самом деле), а сестрой. Важа Пшавела в своих этнографических работах объяснял это заблуждение проповедью хевисбери, которые, чтобы возвеличить «святость» Тамары, объявляли ее девой.

VII. *Квирия* — мужское имя. *Матара* — кожаная фляжка для воды или вина. *Хурджин* — переметная сума.

VIII. *Шанше* — грузинское мужское имя. *Бачали* — селение в Пшавии. *Сумэлджи* — мужское имя. *Он руки братьев...* *раскладывает предо мной*. По обычаю, горцы отрубали у убитого врага правую руку и прибавляли ее к стене своей башни. *Пиримзе* — см. выше, стр. 316.

IX. *Ахадская гора* — в Верхней Пшаветии, около селения Ахади, недалеко от Лашарской горы.

X. *Дгиури* — мера пахотной земли, около половины гектара.

XIII. *Хошареули* — мужское имя. *Спероза* (Сперозия) — скалистая гора, находящаяся между Тушетией и Кахетией.

XIV. *Накерала* — гора, отделяющая Тушетию от Кахетии. «Давно я жажду этой крови...» До последнего времени среди горцев — пшавов, хевсуров и тушинцев — существовал жестокий обычай кровной мести, убийства за убийство. Сущность его заключалась в том, что род убитого мстил убийце или всему его роду. По суеверному представлению, душа убитого обретала покой лишь после свершения кровной мести. Кровная вражда переходила из поколения в поколение и длилась долгие годы; так, например, кровная вражда между архотскими Назараули и блойскими Гигаури продолжалась двести лет и закончилась примирением лишь в 1927 г. *Побратим.* — Среди горцев до сих пор существует обычай братания. Желающие побрататься выпивают по три раза вино или пиво из одной чаши, в которую предварительно была наскоблена серебряная монета (или серебряные украшения с оружия). После этого обряда они считаются братьями: каждый из побратимов может когда угодно зайти в дом к другому, без спросу пользоваться его имуществом и т. д. *Сабуе* — селение в Кахетии.

XV. *Бóрбала* — гора, возвышающаяся над Пшав-Хевсуретией, Тушетией и Кахетией.

XVI. *Панкиси* — ущелье в Кахетии, в верховьях реки Алазань. *Тбатана* — гора в верховьях Алазани; там расположены летние пастбища тушин. *Цицала* — мужское имя.

XVII. *Иори* — река в Кахетии, приток Куры, берет начало в Пшавии.

XVIII. *Схловани* — селение в Пшавии, на реке Иори.

Гость и хозяин. В письме Важа Пшавела, опубликованном в 1914 г., содержится высказывание его об этой поэме: «Поэма «Гость и хозяин» построена на следующем предании: хевсур Звиадаури случайно попадает в руки кистинов. Какой это «случай» — предание не говорит, следовательно встреча с Джохолой, приглашение им Звиадаури к себе домой и его пленение — творчество автора. У кистинов, — говорит далее предание, — имеется недавний покойник, убитый каким-то хевсуром. Согласно обычаю, необходима кровная месть. Сам покойник требует этого и, чтобы удовлетворить его, успокоить негодующее чувство мести покойного собрата, кистины убивают Звиадаури над могилой Дарла (имени кистина в предании нет). В момент убийства Звиадаури обнаружил большую храбрость и неустрашимость: он не дрогнул, когда ему, простертому на могиле кистина, подобно быку на заклании, вонзили в горло острый кинжал; когда ему при этом говорили: «Будь на том свете покорным слугой Дарла, носи ему воду, плети лапти, исполняй все его желанья с самоотверженной преданностью», — он в ответ, до последнего дыхания в горле, хрипел: «Пес — жертва вашему покойнику!..» Благодаря этой неустрашимости перед врагами и смертью Звиадаури остался свободным хевсуром, а Дарла был посрамлен, и его чувство мести осталось неудовлетворенным. Вот весь сказ, на котором я построил поэму «Гость и хозяин», следовательно, Джохола, Агаза и оплакивание ею Звиадаури, поход хевсуров для перенесения на родину останков Звиадаури и все остальное —

плод фантазии автора...» (цитир. по статье Ал. Абашели в книге: Важа Пшавела. Поэмы. М., 1935, стр. 114).

I. *Кистинская страна* — Ингушетия.

II. *Чиэ* — селение в Хевсуретии. *Звиадаури* — хевсурское фамильное прозвище. *Джарега* — горное селение в Кистетии (Ингушетии), граничащее с Хевсуретией.

III. *Пандури* — грузинский народный струнный инструмент.

IV. *Кровник и побратим*. — Об обычаях кровной мести и побратимства см. выше, стр. 317.

V. *Гяур* — у магометан: неверный, чужеземец. *Бандули* — см. выше, стр. 314.

VII. *Дарла* — кистинское мужское имя.

X. *Бисо* — селение в Хевсуретии. *Аларека*, *Бабураули* — хевсурские фамильные прозвища.

XV. *Пиримзе* — см. выше, стр. 316.

Оленья лопатка. I. *Ростом* — см. выше, стр. 314.

II. *Ломисский Крест* — молельня в Мтиулети, на Млетской горе. *Баляя* — мужское имя.

III. *Лал* — рубин.

IV. *Чолика*, *Берика*, *Беридзе* — грузинские имена и фамильные прозвища. *Белокопытник* — сорное полевое растение. *Копёр* — дико-растущий укроп.

VII. *Бодбис-хеви* — селение на юге Кахетии, в Кизикии.

Кровная месть. II. *Врага убитого десница*... — см. выше, стр. 316.

III. *Бек* — в мусульманских странах Востока титул мелкого феодала.

V. *Терело* — по-видимому, черкесское селение.

VI. *Дикло* — также, очевидно, название черкесского селения.

XII. *Баранта* — разбойничий набег, грабёж. *Хваргило* — по-видимому, черкесское селение.

XIII. *А коль платком еще повяжут...* У горцев было в обычае: мужчину, избличенного в трусости, повязывали женским платком; это было страшное бесчестье.

XV. *Чонгури* — см. выше, стр. 312. *Адат* — у мусульман обычай, возведенный в неписанный закон. *Геенна* — ад.

Змееед. В уже цитированном письме, опубликованном в 1914 г., Важа Пшавела, касаясь этой поэмы, говорит следующее: «Фабула «Змеееда», которую я слышал и на которой построил всю поэму, такова: хевсур Миндия попадает в плен к «каджам» (злым духам). Жизнь среди них до такой степени истомила Миндию, что он решил покончить с собой. Чтобы отравиться, он съел змею, которой питались «каджи». Результат получился совершенно неожиданный: Миндия превратился в мудреца. Его мудрость, по преданию, заключается в том, что он узнает целебные свойства всех растений, так как растения сами открывают ему эти свойства. Благодаря этому Миндия становится чудесным врачом. Дальше этого народное сказание не идет; семья Миндии, диалог с женой, отказ от мясной пищи, полководческий талант Змеееда, знание языка птиц — всего

этого нет в сказании, которое не содержит никакого драматического переживания Миндии. . .» (цитир. по статье Ал. Абашели в книге: Важа Пшавела. Поэмы. М., 1935, стр. 114—115).

I. *Цыка*, *Миндия* — хевсурские мужские имена. *Пандури* — см. выше, стр. 313. *Чаши-караха* — особая деревянная чаша, принятая в хевсурском быту. *Каджи* — см. выше, стр. 315. *Тамара* — см. выше, стр. 311.

IV. *Гуданский Крест* — см. выше, стр. 313.

V. *Кистин* — ингуш. *Осман* — турок.

VII. *Пиримзе* — см. выше, стр. 316. *Аргунь* — река в Северной Хевсуретии. *Хурджины* — переметные сумы, мешки.

VIII. *Хахмати* — селение в Хевсуретии. *Хевисбери* — см. выше, стр. 314. *Хахматский Крест* — см. выше, стр. 314.

X. *Сандуа*, *Мзия*, *Зекуа*, *Швена* — хевсурские женские имена. *Тотия*, *Ушиша* — имена мужские.

XII. *Чоха* — см. выше, стр. 313.

Д з а г л и к а Х и м и к а у р и. *Чавчавадзе* Илья (1837—1907) — крупнейший грузинский писатель, просветитель и общественный деятель, испытавший глубокое влияние русской передовой литературы и общественной мысли 60-х годов; поэт, прозаик, публицист, редактор влиятельной газеты «Иверия».

II. *Ликоки* — ущелье в Хевсуретии. *Ираклий II* (1716—1798), по прозвищу «Патара кахи» («Маленький кахетинец») — грузинский царь, выдающийся полководец и государственный деятель, объединивший под своей властью Кахетию и Карталинию и освободивший их из-под иранского ига. Ираклий II вел упорную борьбу против турок, иранцев и их союзников — лезгин. В своей дипломатической деятельности последовательно проводил политику сближения Грузии с Россией, результатом чего явилось присоединение Грузии к России, последовавшее через три года после его смерти. Пшаво-хевсурские дружины составляли отборные части в войске Ираклия II.

III. *Гергети* — см. выше, стр. 314. *Ликокская роца* — см. выше.

IV. *Франгули* — см. выше, стр. 311.

V. *Дидубе* — один из районов города Тбилиси. *Лев Грузии* — Ираклий II.

VI. *Аспиндзский бой* — знаменитое в летописях Грузии сражение, происшедшее 20 апреля 1770 года около села Аспиндза в верховьях реки Куры. В этом сражении грузинское войско под предводительством царя Ираклия II нанесло решительное поражение превосходящим силам турок и лезгин.

СОДЕРЖАНИЕ¹

Важа Пшавела — *Вступительная статья Симона Чиковани* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Амирани	33	<i>311</i>
«По ущелью тянутся туманы...»	35	
Горы спят	36	<i>311</i>
Песня жениха	37	
Гиги	38	<i>311</i>
Гора и долина	39	
Орел	40	
Стон бесконечный	40	<i>311</i>
Жалоба меча	42	<i>311</i>
Ожидание	43	
Утешение	44	<i>311</i>
Песня («Ты на том берегу, я на этом...»)	45	
Бакури	46	<i>312</i>
Берикаули	48	<i>312</i>
Осень в горах	49	<i>312</i>
Почему я создан человеком	56	
Памяти Давида Гурамишвили	57	<i>312</i>
Письмо солдата-пшава	59	<i>312</i>
Завещание	60	<i>312</i>

ПОЭМЫ

Гоготур и Апшина	65	<i>312</i>
Алуда Кетелаури	78	<i>314</i>
Копала	95	<i>314</i>
Раненый барс	105	<i>314</i>
Этери	110	<i>315</i>

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

Бахтриони	143	<i>315</i>
Гость и хозяин	183	<i>317</i>
Оленья лопатка	212	<i>318</i>
Кровная месть	228	<i>318</i>
Змеесед	258	<i>318</i>
Дзаглика Химикаури	291	<i>319</i>
Гиля и Квириса	302	
Примечания	309	

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов,
А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, В. О. Перцов,
А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский, В. М. Саянов,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора).*

Пшавела Важа

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Редактор *В. Н. Орлов*

Художник *И. С. Серов*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *И. Г. Клейман*

Сдано в набор 16/VII 1957 г. Подписано
в печать 18/IX 1957 г. Бумага 84 × 108 /₃₂
Печ. л. 20 ³/₈ (16,7). Уч.-изд. л. 16,76.
Тираж 10 000. Зак. № 637. Цена 6 р. 55 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28

Типография № 3 Управления культуры
Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., д. 1/3.

